

ВСЕТИРНАЯ ИСТОРИЯ В РОМАНАХ

Валерий ПОЛУЙКО

ЛЕТА 7071



Всемирная история в романах

Валерий Полуйко

Лета 7071

«ВЕЧЕ»

1979

Полуйко В. В.

Лета 7071 / В. В. Полуйко — «ВЕЧЕ», 1979 — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4444-8594-1

«Пусть ведает Русь правду мою и грех мой... Пусть осудит – и пусть простит! Отныне, собрав все силы, до последнего издыхания буду крепко и грозно держать я царство в своей руке!» Так поклялся государь Московский Иван Васильевич в «год 7071-й от Сотворения мира». В романе Валерия Полуйко с большой достоверностью и силой отображены важные события русской истории рубежа 1562/63 года – участие в Ливонской войне, борьба за выход к Балтийскому морю и превращение Великого княжества Московского в мощную европейскую державу.

ISBN 978-5-4444-8594-1

© Полуйко В. В., 1979

© ВЕЧЕ, 1979

Содержание

Об авторе	6
Избранная библиография Валерия Васильевича Полуйко	7
Книга первая. Взятие Полоцка	8
Глава первая	8
Глава вторая	16
Глава третья	27
Глава четвертая	51
Глава пятая	75
Глава шестая	86
Конец ознакомительного фрагмента.	110

Валерий Полуйко

Лета 7071

© Полуйко В. В., 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Об авторе

Валерий Васильевич Полуйко – русский исторический писатель, долгое время живущий в Донбассе. Родился он в 1938 году, в Курске. Еще в юности Валерий Полуйко переехал в Ворошиловград (современный Луганск), где после окончания школы начал работать на заводе. В то же время у него возникает интерес к главной теме последующего творчества: к всестороннему изучению эпохи Ивана Грозного. Постепенно у юноши открылся литературный талант; он едет в Москву, поступает в Литературный институт. В столице Валерий восполняет свой интерес к бурной эпохе российского прошлого посещением Библиотеки им. Ленина, Исторического музея, кремлевских музеев, других мест Москвы и Подмосковья, связанных с жизнью первого русского царя. В дальнейшем, уже во взрослой самостоятельной жизни, став писателем, Валерий Полуйко объехал множество древнерусских городов, где побывал главным героем его произведений: Новгород, Псков, Полоцк, Великие Луки, Ярославль, Углич, Вологда и пр. Еще в институте он принялся составлять словарь языка Ивана Грозного. Дипломной работой молодого писателя стала драма «Опричники», но еще раньше, на последнем курсе института Валерий Полуйко принялся за исторический роман о событиях времен Ливонской войны. Роман был издан в 1979 г. под названием «Лета 7071». Он имел большой успех и не раз переиздавался. Впоследствии были написаны еще три романа о Грозном.

Как известно, личность Ивана IV неоднозначно оценивается как историками, так и общественным мнением, которое создается в том числе и под влиянием литературных произведений. Современный читатель, безусловно, встречал самые противоположные оценки государственной деятельности и частной жизни первого русского царя. Валерий Полуйко находится на стороне тех, кто в целом положительно оценивает личность Ивана Грозного, считает царя выдающимся строителем русского государства. Свои убеждения он подтверждает огромным объемом историко-архивных исследований, раздумьями над накопленным фактическим материалом.

В одном из поздних интервью писатель признавался: «Я преследовал главную цель: проследить в полной мере год за годом, месяц за месяцем, неделя за неделей, а иногда даже день за днем, от рождения до самой смерти Ивана, чем он занимался, что делал и как делал...» Писатель тщательно сопоставлял события царской жизни, «так как разные источники сообщали эти факты по-разному, с вариантами, а зачастую были неполны и противоречивы». Далее автор раскрывает тайны своей творческой мастерской: «В поисках истины, в поисках исторической достоверности... выбираешь долгие мучительные поиски, ибо истина никогда не лежит на виду». Бесконечная запутанность и противоречивость свидетельств, откровенные фальсификации, веками складывавшиеся исторические штампы приводят, как полагает писатель, всего лишь к версии, ибо «истиной в полном объеме не владеет никто: ни писатель, ни ученые-историки». Факты не полны и порой противоречивы, а поэтому «труды, выходящие из-под пера ученых-историков, – это тоже версии». Таким образом, если Валерий Полуйко убедит в большей вероятности именно своей версии событий того далекого времени, читатель станет его союзником в оценке жизни и деяний Грозного, если же нет, то пусть скептик отнесется к роману именно как к оценочной версии, не отбрасывая всего богатства фактов, приводимых автором. Ну, а художественные достоинства его романов подтверждены полученными писателем литературными премиями имени В. Даля, имени В. Пикуля, имени А. С. Грибоедова.

*Анатолий
Москвин*

Избранная библиография Валерия Васильевича Полуйко

- «Лета 7071» (1979)
- «Государь всея Руси» (1996)
- «Третий Рим»
- «Лихолетье»

Книга первая. Взятие Полоцка

Глава первая

1

Стояла гиблая, бесснежная зима. Мрачно и тревожно было на Москве в эту зиму: от самого Воздвиженья ждала Москва набега крымцев. Лазутчики еще до первых распутиц доносили царю и боярам о суматохе и сборах в Крымской Орде...

Царь был сумрачен, но спокоен. Казалось, жила в нем какая-то тайная надежда, и он смиренно вверялся ей, а может, и вправду не страшился Девлет-Гирея с его дикой Ордой и ждал терпеливо исхода. Только все могло быть иначе, и мысли царя, и задумы могли быть смелей и дерзостней! Кто мог разгадать их – он и Богу не поверял своих дум и намерений.

По Москве ползли слухи, будто бояре в сговоре с крымцами и только ждут их прихода, чтоб отворить ворота города. Посадские кричали на площадях, что царя опоили колдовским зельем и спрятали в каком-то замосковном монастыре, чтобы он не смог помешать им.

Посадский народец буен и дерзок. Ежели посадские начинают роптать – жди бунта. В год государевой свадьбы, когда случился на Москве великий пожар, такой великий, что полгорода выгорело с посадами и слободами, это они, посадские, выволокли из Кремля родича царского князя Юрия Глинского и отсекли ему голову на торгу, где казнили в обычай разбойников, а после явились в село Воробьево, к самому царю, требовать, чтоб он выдал им бабку свою Анну Глинскую – за то, что будто она своим волховством Москву выпалила.

Посадские ропщут от страха за животы свои да за пожитки... Подступит крымец к Москве – бояре, да служилые, да купцы с добром своим да с семьешками в Кремле спрячутся, отсидаются, а им, злосчастливым, Чертольским да Арбатским, Дмитровским да Покровским нет защиты от крымцев. Возьмут они город или не возьмут, а посад непременно разорят, пожгут...

2

На Арбате, возле церкви Воздвиженья, людно и гомонно. Плюгавый монах спихивает с паперти прямо в лужу, подернутую легким ледком и загаженную конским навозом, кудлатого, оборванного юродивого.

– Людя! Братя! – скулит юродивый, изнеможенно отбиваясь от монаха и схватывая по-рыбьи обезображенным ртом холодный, промозглый воздух.

Толпа гудит, набраживает злобой... Передние обступают паперть, насуспенно и истомно, как заезженные лошади, дышат густыми клубами пара...

– Не трожь юродного!

– Побойся Бога!

– Людя! – Юродивый, подталкиваемый монахом, сползает с паперти в лужу, становится на колени. – Христиане! Расею казнят!

– Оставь юродного! – наступают на монаха самые решительные. – Добром тебя просим!

Монах стоит перед толпой, расставив широко ноги и скрестив на выпуклом животе желтые руки, – ни страха в его глазах, ни смятения: совесть его спокойна, он ничем не поступится в угоду этому подлому люду. За его спиной – твердыня – храм господень, а на груди – святой крест... Кто посмеет поднять на это руку?!

Рот монаха раззявился в приторной зевоте, он лениво, слабым бабьим голосом сказал:
– Он богохульник!

Юродивый дернулся, вскидывая свои лохмотья, что-то прокричал хрипло и невнятно и упал плашмя в лужу.

Монах подпернул рясу, сошел по ступеням вниз.

– Он царя хулил... А кто хулит царя, тот Бога хулит!

Толпа от неожиданности задохнулась.

Юродивый бездвижно лежал в луже.

– Бог ему простит! – выкрикнул кто-то из толпы. – Юродный он!

– Пушай в луже буйствует в своих хулах и не оскверняет храма господнего. – Монах осенил себя крестом и степенно удалился.

– Люди! Братя! – вновь возопил юродивый, тряся мокрыми лохмотьями. Борода его, руки и грудь были облеплены кусочками навоза. Он уже не закатывал глаз, не запрокидывал головы – взгляд его метался по лицам окруживших его людей, и было в нем что-то нечеловеческое, отчаянное и дикое.

– Пошто царя хулил? – допытывались из толпы.

– Буде, он не юродный?.. Лазутник, буде, крымский?!

– Погибель на вас надвигается! – вдруг выкрикнул юродивый и проворно вскочил на ноги. – Татары надвинутся!.. Порежут! Пожгут! В полон поберут!

Толпа раздалась, отступила от юродивого. Тот снова упал на колени и, сотрясаясь всем телом, стал кричать:

– Татары близко!.. Близко! Спасайтесь! Бегите! Царь вас не защитит! Бегите! Спасайтесь!

Толпа дрогнула, заколыхалась... Кто-то неуверенно прокричал:

– К митрополиту!.. Идти к митрополиту!

На этот крик не обратили внимания. Громадная, сбившаяся толпа людей вдруг качнулась в сторону – в одну, в другую – и забурилась, как прорвавшаяся из запруды вода.

Юродивый гнался за убегающими и хрипло кричал:

– Спасайтесь! Татары уже близко! Спасайтесь!

Откуда-то вырвалось несколько всадников. На полном скаку вломились они в самую гущу толпы, давя и разметывая оторопевших людей.

Юродивый хитро прикинул к земле. Руки его, как у мертвого, судорожно впились в ее черную, липкую слизь.

– Вот он, пес!

Нагайка пляснула по спине острым извивом...

– Господи, – прошептал юродивый, как перед смертью.

Сильные руки сграбастали его, кинули поперек седла.

3

Чуть свет, отстояв заутреню в Успенском соборе, сходятся бояре в думную палату. Пора утра – самая унылая в Кремле. В коридорах холод и темень. Знобкий ужас таится по всем углам и закоулкам. Из подвалов несет кислый, тошнотный запах.

Сонные стражники, завидев бояр, споро поджигают свежие лучины. Свирепо скрипят под ногами половицы... Ленивые тени движутся от перехода к переходу, раскачивая мрак под низкими сводами. Каждая тень – власть. От веку, сколько стоит на земле Русь, эти тени вершат ее судьбу...

И стонет Русь молитвами, и юродствует на площадях и папертях, а тени кублятся в ее угрюмых дворцах и как проклятье лежат на ней.

4

В царской молельне застывший полумрак, тяжелые тени – будто вмурованные в стены, зеленые отсветы лампад, пляшущие по алтарю, и пронзительный лик Христа, распластанный по иконам, – недремлющий и суровый страж этой затаенной угрюмости.

Федька Басманов отупленно смотрит в спину царя, застывшего на коленях перед образами.

– Басман?..

– Я здесь, цесарь!

– Пошто затаился?

Иван поднялся с колен – заслонил Христа; на лампадках дрогнули язычки пламени...

– Примысливаешь, как бы искусней натравить меня на бояр?!

Федька перевел дух. Царь и Христос пронзительно смотрели на него.

– Кто наущает тебя? Отец твой?

Федька встретился с глазами Христа – они были выпуклы и походили на крашенные пасхальные яйца.

– Пошто ему наущать? Он сам – боярин...

Иван вышел из молельни. Федька настороженно последовал за ним. В спальне Иван устало опустился на лавку, вытянул ноги... На полу валялись две старые мухояровые шубы, подбитые нелинялой белкой, – Федька кинул их нынче утром под ноги, чтоб не разбудить Ивана своими шагами. Возле окошка, на сундуке, стоял кувшин с вчерашним вином – Федька забыл его вынести.

– Коли боярин, так зачем ему супротив остальных бояр идти?

Зловещей тревогой прошибли Федьку царские слова. «Уж не навет ли какой?» – подумал он и мысленно перебрал всех, кто приближался к царю и вчера, и позавчера, и третьего дня...

Иван тербил свою исключенную бороденку, ждал от Федьки ответа, а может, и не ждал... Может, он у себя спросил? И уже ответил.

– Аль вельми о трудном я тебя спросил, Басман?

– Его самого спроси, цесарь... Отца моего...

– Ну а ты?.. Ты, Басман, – сын боярский!

– Я тебе свою верность во всем доказал.

– А коли прикажу... отца родного пытать и казнить?..

– Ежели он тебе изменил – допытаю и казню.

– Верю тебе...

Иван потянулся к кувшину, отпил из узкого горлышка. Его отекавшее, усталое лицо брезгливо дернулось.

– Эвон каким вином царя поят... В малолетство мое також – и поили и кормили, как пса, отбросами. Шуйский с прихвостнями в трапезной, бывало, все пережрут – обо мне и забудут. – Он снова хлебнул из кувшина, словно хотел сильней раздражить себя, и вдруг тихо, почти шепотом, проговорил: – Хан не придет нынче под нас... Не придет!

Федька нисколько не подивился такой быстрой и неожиданной перемене Ивановых мыслей: знал он эту его коварную странность – держать в голове наготове, как стрелы в натянутых луках, сразу по несколько мыслей... Какую из них он выпустит – поди угадай!

5

Федька с презрительной ленцой ввалился в думную палату, прошел к середине и остановился, поставив ногу на лавку, где сидели Щенятев и Бельский.

Ропот пополз средь бояр. Бельский даже с лавки вскочил и прикрыл ладонью свою обильно умащенную бороду, будто Федька не на лавку наступил, а ему на бороду. Щенятев заедливо уставился на Федьку, но тот и глазом не повел в его сторону. Что ему Щенятев? Или Бельский? Ежели перед кем из присутствующих в палате и мог оробеть Федька, так только перед Мстиславским.

Могуч был Мстиславский – и богатством, и родовитостью: потомок великих князей литовских Гедиминовичей, он затмевал всех в думе, хотя и не был ее главою, степенно отодвинувшись за спину честолюбивого Бельского – троюродного царского племянника.

Еще и тем был силен Мстиславский, что честь его не была замарана никакими преступными делами. Ни в чем не мог упрекнуть его царь, даже в нерадивости, и, быть может, оттого и питал к нему непреодолимое недоверие.

Злорадствовал Федька над царской беспомощностью, а под князя подкапывался – коварно и зло, изо всех сил стараясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку, чтоб очернить его, чтоб навести на него опалу и потешиться его поруганной гордыней, которой тайно завидовал, ибо и у царя не было столько надменности, сколько было ее у Мстиславского.

Из-за спины Щенятева презрительно смотрит на Федьку воевода Воротынский. И его побаивается Федька, хотя у старого воеводы спеси больше, чем у самого Федьки, а где спесь, там великой гордости не может быть. Да и царь крут с ним, хоть он и первый у него воевода.

Из дальнего угла поднялся и подошел к Федьке молодой князь Оболенский – лицом к лицу, как сходятся собаки мордой к морде, когда затевают грызню... Федька не успел даже сообразить, на что тот решился, как Оболенский резко сшиб Федькину ногу с лавки и сказал:

– Не на псарне!

Вскинулся Федька, будто кипятком его ошпарили... Больно ущемил его гордость княжич, и Бог весть, как бы они разошлись, если бы в палату неожиданно не вошел царь.

Для Федьки появление Ивана не было неожиданностью: он и пришел сюда только затем, чтоб известить бояр, что царь нынче думать с ними собрался, для всех остальных, а более всего для молодого Оболенского, появление царя было подобно грому с ясного неба. Молодой княжич даже шагу не отступил от Федьки – так и склонился в низком поклоне к самым Федькиным сапогам.

– Аль Басману ты ноги лобызаешь? – сказал Иван насмешливо, становясь напротив Оболенского.

Оболенский брезгливо откачнулся от Басманова.

Иван засмеялся, но в выпуклых светлых глазах его недобро сверкнули сузившиеся зрачки. То ли не по душе пришелся ему надменный вид Оболенского, то ли обозлили бояре, отмолчавшиеся на его шутку. Шутка была злая, но она была царская, и никто не должен был посметь пропустить ее мимо ушей.

Оболенский отступил назад, за спину Воротынского. Воевода горделиво выпятился, закрывая собой осрамленного княжича. Иван обратил на него свой взор:

– Пошто пыжишься, князь Михайла? Аль тесно тебе в шкуре своей?

Воротынский проглотил обиду, ни звуком не откликнулся на царский вызов.

Бояре молчали. Федька ослабил гадливой ухмылкой и со злостью плюнул на пол. Такого в думе не делал и царь.

Мстиславский сурово хлопнул в ладоши. В палату вошли два стрельца. Мстиславский обошел царя, приблизился к Федьке, решительно указал на него рукой. Даже при царе не посмели послушаться Мстиславского стрельцы. Переложив в левые руки секиры, они угрюмо подошли к Федьке.

– Высечь! – коротко приказал Мстиславский.

Все замерли. Мстиславский стоял посреди палаты, спиной к царю, и спокойно ждал, когда стрельцы уведут Федьку. Бельский неотрывно смотрел на Ивана, и столько ужаса было в его

глазах, словно под ним вот-вот должна была разверзнуться земля. Шенятев окаменел... Оболенский застыл за спиной Воротынского – надежное укрытие выбрал себе молодой княжич: старый воевода один только и не потерялся, не остолбенел. Но и он, бывалый вояка, рубавшийся и с татарами, и с поляками, и с ливонцами, не решился бы на такое. Он мог воевать с чужими государями и побеждать их – своему не мог даже прекословить.

– Стойте, – сказал не очень громко Иван, но все почему-то вздрогнули.

Он стоял вполоборота к Федьке, скашивая на него выпученные свои глаза, – на капризных весах его души лежала Федькина судьба.

– Вылижи... Языком вылижи!

Федька недолго колебался. Лучше уж принять унижение от царя, чем от бояр. Он опустился на колени и слизал с пола свой плевок.

Спиной, лопатками, затылком чувал он бушевавшее злорадство бояр, но вместо злобы, вместо буйной и дикой злобы за свое унижение его вдруг обуяла слезливая слабость: руки у него задрожали, подвигнулись, он сунулся лицом в пол и зарыдал.

– Встань, Басман, – сказал ему глухо Иван. – Встань, песья твоя душа!

Федька не поднимался – он или не слышал Ивана, или силы в нем не было, чтобы исполнить его приказание: плечи его тряслись, глухо прорывались стоны...

Иван наклонился над ним, обнял его трясущиеся плечи.

– Поднимись, Басман... Не продлевай свой позор.

6

К обедне ударили колокола – на Благовещенском и на Успенском. Особенно надрывались колокола на Благовещенском...

Когда-то ни одной обедни не пропускал в этом соборе Иван, слушая своего любимца и наставника Сильвестра. Умен был поп и высоко стоял, опираясь на царскую любовь, да уж больно много захотел – царский ум подменить своим умом. От советов к повелениям перешел, да и это бы полбеда, кабы о благополучии царском радел... Так нет – в сторону отступился, врагам стал способствовать.

Ровно, бесстрастно гудят колокола – не дрогнет рука у звонаря, не собьется звук...

«Эк как звонят благовещенцы, будто Сильвестра озванивают», – подумал Иван, и образ изгнанного попа затмил ему глаза. Умный, благообразный, он пленил душу Ивана своими мыслями, праведностью и благочестием. Сколько мудрости излил он своими устами в душу Ивана и мудростью же послушание его царское добыл и доверие, которого никто не достаивался. Послушание и доверие... Его, Ивана, послушание! Его доверие! И все это употребить во зло... На пользу врагам...

– К обедне отзвонили, – сказал осторожно Шереметев, стоявший ближе всех к Ивану, и поклонился, чтоб не встречаться с ним взглядом.

– Бог нам простит, бояре, коль не отстоим обедню одну...

– Да како ж – обедню... – заикнулся было Бельский и враз осекся, будто за горло его схватили.

– Ну, князь!.. – Иван хохотнул. – Ну же!.. Докончи! Вразуми царя иль попрекни его...

Бельский молчал. Только губы побелели у него.

«Все против меня, – думает Иван, терзая взглядом Бельского. – Все! И сей... И сей... В малолетство не извели – проглядели, теперь не отступят... Толико поры ждут. И сколько, однако, их?!»

Он быстро, словно пересчитывая, обводит глазами бояр. Тишина раскачивается и раскачивается на невидимых нитях, натянутых до предела, – вот-вот оборвется... Взгляд Ивана то останавливается, то опять быстро скользит по боярским лицам, и кажется, что он ищет среди

них кого-то... Воротынский... Яковлев... Серебряный... Курлятев... Курлятев! С ним, с ним столкнулся Сильвестришка-поп! Приятели были – огнем не разожжешь, водой не разольешь! Его наущениями власть царскую к рукам прибирал хитрый поп. И в изгнание удалился с тайной мыслью, что позовет его царь назад... Не справится с душой своей и мыслями – и призовет опять к себе, отдав всю власть над собой. Ждет этого Курлятев и на поклон к попу ездит в Кириллов монастырь. Речи с ним ведет тайные... Знает Иван, о чем эти речи.

Судорогой пробежало по Ивану это новое воспоминание о Сильвестре. Вскинулась в нем злоба, заметались мысли, чуть бы – и оборвал тишину... Но взгляд его уже перескочил с Курлятева, двинулся дальше... Щенятев... Кашин... Шуйский! Этот тоже волчьей породы. Алчность и властолюбие кровью залили весь род его. Кто еще, кроме Шуйских, так рвется к царскому престолу?! Этот, буде, о престоле уже и не помышляет, но убийство дядьки своего, Андрея Шуйского, которого он, Иван, еще в малолетство выдал псарям, он не забыл. И не простил он ему этого убийства, и не простит, хотя ничем затаенной своей злобы не выказывает, и отомстит – неожиданно и подло, как в спину ударит.

– Что же, бояре, каково слово ваше будет? – глухо выговаривает Иван и переводит взгляд на Мстиславского. – Воевать нам дальше Ливонию иль отступиться да и сидеть так, взаперти, в Кремле до скончания века?.. Без моря! Без доброй торговли!

Дрогнули глаза у Мстиславского, но не отвел он их в сторону, выдержал взгляд Ивана и первым ответил ему:

– Каково нам, государь, чужую землю воевать, коли своей защитить не можем? Крымец терзает нас непрестанно, жжет наши города, люд наш губит и полонит...

– Крымчак беду великую чинит земле нашей, – вставил Шереметев. – Его воевать надобно. Дикое поле под себя забрать... Земля там добрая и угожая, много ее...

– Буде, через то, Шеремет, ты в крымскую сторону клонишь, – ехидно спросил Иван, – что уж заимел там поместья? Моим войском маетность свою защитить тщишься?

– Ведомо тебе, государь... – что-то вздумал ответить Шереметев, но Иван не дал ему.

– Ведомо мне, – перебил он его криком, – что городков вы там понаставили, вотчины разметнули!.. И ты – Мстиславский! И ты – Воротынский! Небось тоже станешь от Ливонии меня отговаривать? Поди, сгреб больше всех в Диком поле?!

– Я – воевода, государь, – с достоинством ответил Воротынский. – Все, что есть у меня в Диком поле, пожаловано тобой за мои труды ратные.

– Молчи, воевода, не оправдывай душу свою алчную! Ты своего нигде не упустишь... И братец твой – таковой же! О Руси так бы пеклись, как о богатстве своем!

– Мы все с тобой вместе печемся о Руси, – сказал Мстиславский.

– Молчи, князь!.. Молчи, коль запаматовал ты те беды, что чинят Руси и литвины, и свеи, и ляхи... Ирик, король свейский, и Фридерик – дацкой, запрет положили плаванью нарвскому... Жигимонт також – Гданьску да прочим городам приморским заказал торговать с Нарвой. Ни от фрягов, ни от немцев не идут теперь к нам купцы... А которые и идут – свейские да ляцкие каперы¹ нападают на них. Аглинцы Белым морем плывут, да путь тот несносный, много по нему не находишь. Теперь Рига и Кольвань² снова всю торговлю у нас отнимут.

– Нам с заморцами торговать убыточно, – ввернул Шереметев.

– Правду речет Шереметев, – поддержал его Салтыков. – Аглинцы в Новограде сукно торгуют: по четырнадцати рублев с куска, а я, коли посольство у них правил, покупал таковой кусок по шести фунтов.

¹ Капер – торговое морское судно, вооруженное и наносящее вред неприятелю с разрешения правительства, то есть морской партизан. (Здесь и далее примечания автора.)

² Кольвань – русское название Ревеля (ныне Таллин).

– Более не у кого взять нам то сукно, – мрачно сказал Иван. – Не у кого! Бухарцы везут к нам коренья и пряности, ногаи гонят лошадей... А нам пищали потребны и всякие иные припасы военные. Голаны и фряги бумагу везут – како ж нам без бумаги? Грамоте мы обучены изрядно...

Иван поднялся с лавки; ни на кого не глядя, прошел к дальней стене, остановился перед ней – руки сзади сцеплены в напряженье и злобе...

«Твердо встали... И в силе своей, и в правоте переуверенные... Отцу моему руки вязали упорством и противлением, и на моих руках виснут...»

– Бояре!.. – Иван резко обернулся. – Я пришел не молить вас... Я пришел сказать вам, что мы обречем Русь, коли море ей не добудем!

– Коли б только Ливония, государь, путь нам к морю заграждала, – тихо, но твердо проговорил Мстиславский. – И Польша, и Литва, и свеи – все поперек встают. Како нам разом супротив всех ополчаться?

– Вот ты теперь каковые речи речешь?! – Иван оглядел Мстиславского тяжелым взглядом. – И вы, поди, все мыслите тако ж?

– Мстиславский мудро речет, – сказал Серебряный. – Несносно нам воевать противу всех.

– Ты что скажешь, воевода? – обратился Иван к Воротынскому.

– Бесславно воевать не привык, государь!

– Бесславно?! – взметнулся Иван. – А не вы ль, бояре, на мир стали с ливонцами, коли победа и слава была в наших руках? Не вы ль, с попом Сильвестришкой в сговоре, на мир сей склоняли меня? Не замиришь мы тогда, вся Ермания уж была бы за православною верою.

– Король дацкой – Фридерик, государь, посредником был, – сказал Мстиславский. – Он тебе грамоты слал и послов своих... Он тебя к миру склонял.

– Фридерик лукавил с нами... Но и вы лукавили разом с ним. В угоду себе, бояре, вы преступили пред Богом!.. И пред отечеством нашим! Воля ваша, бояре, радеть за жир и живот свой и быть супротив меня или радеть за Русь-отчизну и быть заодно со мной. Но я – царь на Руси, – с остервенением и болью выщептал Иван. – И не быть мне у вас под руками!

7

Васька Грязной как ополоумевший влетел в думную палату – полураздетый, потный, со следами крови на плохо вымытых руках – и с налету бухнулся на колени, нахально и восторженно рыща глазами по растерянным лицам бояр.

– Он сознался, государь!.. Сознался! – Васька рабски поклонился Ивану, стукнувшись лбом о пол.

Ужасом дохнуло на бояр от этой дикой восторженности Грязного, от его слов и от его рабского поклона. Они отпрянули к противоположной стене, сбились в кучу, словно это могло защитить их от той неожиданно нагрянувшей беды, что ворвалась вместе с Грязным.

– Наложите крест и ответствуй: кого назвал? – повелел сурово Иван.

– Крест кладу, государь... Бельского назвал!

Радость, злая и горделивая радость осветила Ивану лицо: должно быть, только сейчас, увидев напуганных и смятенных бояр, почувствовал он, что стал царем, – только сейчас, а не тогда, шестнадцать лет назад, когда дерзко надел на себя шапку Мономаха и повелел величать себя царем. Он вдруг опустился на колени подле Васьки и сдавленным от волнения голосом промолвил:

– Молись, Василий... Молись за тех, кто сам за себя не сможет уже помолиться. А я помолюсь за тех, кто, позабыв Бога, посылает на градские распутия шельмовать народ и супротив нас, царей, подбивать! Реку, яко богородица, шедшая по мукам: «Дабы ся не ражали»³.

³ «Дабы ся не ражали» – лучше бы они не родились.

Глава вторая

1

Последний хан Золотой Орды Ахмат приходил на Русь при деде Ивана – великом князе Иоанне Васильевиче. Встретили тогда хана воеводы московские на Угре-реке и не пустили дальше. Так и простоял он все лето, не двигаясь с места, только похвалялся, подстрекаемый польским королем Казимиром: «Даст Бог зиму на вас: когда все реки станут, то много дорог будет на Русь».

А зима в тот год настала нежданно рано: с Дмитриева дня⁴ ударили такие лютые морозы, что, по словам летописца, нельзя было смотреть. Татары ободрались за лето, были наги, босы, обещанная помощь от Казимира не пришла, а за Угрой в полной боевой готовности стояло сильное русское войско, и Ахмат, помня судьбу Мамаю, только одну дорогу и выбрал – назад, в степь, где его и подстерег давний враг – тюменский хан Ивак и собственноручно убил сонного, после чего отправил к великому князю своего посла – объявить, что его супостата больше нет.

Остались после Ахмата сыновья, но и их ждала участь отца: почти все они сгибли от татарского оружия. Последний сын его – Шиг-Ахмет – не устоял против крымского хана Менгли-Гирея. Разбил его Менгли-Гирей и Орду разогнал, а сам Шиг-Ахмет побежал искать себе прибежища у польского короля Казимира, думая, что давняя дружба с его отцом и союз против Руси расположат к нему Казимира. Только ошибся: король засадил его в темницу и до самой смерти продержал на цепи, потому что и сам боялся этого дикого хана, достойного потомка Батыея.

Избавилась Русь от Золотой Орды, да нажила другую – Крымскую. Еще в княжение Василия Темного пошла молва о диком народе из черноморских улусов... Собрал их и составил Орду хан Едигей, но первым, кто посадил их на боевых коней и указал путь через степь – на север, на запад, – был Ази-Гирей, родоначальник знаменитых крымских Гиреев, и с тех пор, как он сделал это, уже не было покоя ни русским землям, ни польским, ни литовским. В страхе и почтении к себе держали государей этих земель крымские ханы, и дань брали ежегодную в виде подарков-поминков, и что ни год совершали набеги, грабили города, села, тысячами уводили пленников...

2

Конь под Иваном шел легко, ровно, лишь изредка спотыкаясь на кочках подмерзлой, но все еще не заснеженной, черной дороги. Иван ехал в объезд – осмотреть подмосковные монастыри, в которых тоже можно было чинить опору крымцам.

Ветрило. Иван кутался в шубу, горлатный треух был надвинут на самые глаза...

Минуя ворота Китай-города, по Лубянке доехали до Сретенки. Кучково поле, лежащее на пути, продуваемое ветром и пустынное в это холодное утро, поманило Ивана, он пустил коня легкой рысью, но у самых Сретенских ворот вдруг осадил. Федька Басманов и Шереметев, не справившись со своими лошадьми, чуть было не смяли его – ладно он ловко увернулся и так стеганул Федькину гнедую, что та, вздыбившись, чуть не сбросила Федьку наземь.

– Урочище сие Кучковым зовется – знаешь почто? – обратился Иван к Алексею Басманову, бывшему ближе всех к нему.

⁴ Дмитриев день – 26 октября по старому стилю.

– От боярина Кучки, что первым хозяином был на Москве.

– Первым хозяином на Москве был Юрий.

– Должно быть, так, государь... Токмо... слышал я от книжных людей, будто, по летописи, Москву не Юрий основал, а боярин сей – Кучка. Будто реклась Москва тогда – Кучково.

– То худая летопись, – сказал недовольно Иван. – Кучка основал Кучково, а Москву – Юрий, и николиже она не реклась Кучково... Она всегда реклась – Москва!

От Сретенских ворот отходили две дороги – Троицкая и Переяславская. Иван поехал по Троицкой дороге, намереваясь, должно быть, начать осмотр с Покровского либо Новоспасского монастыря, но версты через две круто повернул и через пустыри и вытоптаные выпасы поспешил на Переяславскую дорогу.

Только один Алексей Басманов поспевал за ним. У Федьки кобыла пришлась с норовом – из царской конюшни наугад взял, и управиться с ней стоило ему пота. Шереметев трусил на какой-то заезженной лошаденке, но тоже с норовом: когда нужно было стоять, она брыкалась и лезла на других лошадей, а в ходу ленилась. Но Шереметев не очень переживал: лошаденку эту он нарочно подобрал, чтоб быть подальше от царских глаз.

Воротынский тоже держался сзади. Недоброе чуяло его сердце... Когда еще только наказ пришел ехать ему с царем, да с Шереметом, да со старым Басмановым в объезд, тогда и закралась в него первая тревога. С чего бы вдруг ему – с Басмановым да Шереметевым?! Против крымцев редко ходил, все больше против поляков да ливонцев... Шеремет и Басманов – понятное дело, не один раз татарву от Москвы отбивали, им – все в руки, они больше укажут и больше присоветуют, где какую засеку доставить, где кольев против конницы набить, где стога соломенные наметать, чтобы палить их перед крымчаками. Ему же, Воротынскому, другое – ему на приступ идти, а не отбиваться от приступающих. Не привык он, да и не искусен за стенами сидеть. Ему на хана идти, в его землю, а не дожидаться его на своей, да еще под самой Москвой. Если же царь, по примеру давних лет, решает здесь дожидаться хана, ему, воеводе Воротынскому, нечего делать в объезде. Но раз царь позвал, значит, что-то задумал... Это-то и тревожило Воротынского. Знал он эти задумки царские, жестокие и настырные, – сам Бог не сумел бы отвратить его от задуманного, и чем сильней упорство и противление его задумам, тем настойчивей, злей и непреклонней он. С этой дьявольской настырностью шел на Казань и Астрахань, с нею же полез добывать и Ливонию.

«И добыл бы!.. – подумал зло Воротынский, глядя на скачущего впереди Ивана. Не мог воевода обманывать самого себя – оттого и злость вскинулась в нем. – Добыл бы, кабы не Сильвестришка да Адашев».

О попе и Адашеве Воротынский всегда вспоминал с каким-то гордым чувством злорадства – злорадства над царем за его бабью податливость разным льстецам и подлипалам. Он, вояка, считавший, что все царские милости можно завоевать только на поле брани, не понимал и не хотел понимать всех этих усердствующих льстецов и наперсников, он презирал их – и не раз страдал через это. Тот же самый Адашев, словно чуя презрение воеводы, отправлял его годовать в дальние города для пушего якобы их бережения, а на самом деле – подальше от Москвы, от царя, который при всем своем недоверии к княжатам все же любил своего первого воеводу и даже пожаловал ему самое почетное звание – слуги.

Терпелив был воевода и умен. Видывал он многих царских любимцев и всегда предвидел их участь.

«Водить полки против недругов безопаснее, чем подавать блюда из лести на царский стол», – подумал Воротынский и чуть подхлестнул коня. Однако все эти мысли не успокоили... Особенно теперь, когда царь свернул с Троицкой дороги на Переяславскую.

«С чего бы ему метаться?» – гадал Воротынский и в беспокойстве поглядывал на ссутулившуюся спину царя. Молод был царь, за тридцать лишь-лишь перевалило, а казался стариком: морщины по лбу и переносью, цепкие, жилистые руки, какие обычно бывают у стари-

ков, сумрачные глаза, и взгляд – то тяжелый, пронизывающий, то истомленный, старческий, и сутулость – так и на коне сидит, и на троне...

Смотрит воевода на ссутулившегося царя, смотрит, как льнут к нему Басмановы – за пазуху готовы залезть! – и уныние, тягостное уныние охватывает его. Чует он, давно уже чует, что клонится царь в какую-то смутную, чуждую многим сторону, а почему клонится, что поворачивает его в эту сторону – не понимает. Что в нем, в его поступках, делах – польза и истинность, что – только злоба и безрассудность? Не дойти до этого воеводе, не дойти... Лъстецы и двудушники вокруг царя, и вертится, вертится кутерьма изошреннейшего притворства, словно ловкая скоморошья пляска, затеянная для того, чтоб потешить глупых и сбить с толку разумных, а исподволь проступает сквозь эту ряженную в обыденные одежды нарочитость вероломная настырность чьего-то жестокого ума, чьих-то злых замыслов, чьих-то наветов... И понимает воевода, как страшна эта настырность, как слепа ее злоба, и защита от нее – только в самом себе, в той исконной гордыне, что дана ему с кровью предков, в той покорности и смиренности пред судьбой, что уготована ему Богом.

Переяславская дорога была пустынна: пользовались ею только зимой, когда мороз связывал бесчисленные болотца и лужи, смораживал ручьи, которых здесь было великое множество, и снег упрятывал под себя всю нечистьбу, что наносили эти ручьи. По декабрьскому зимнику первые обозы прибывали в Москву, а в марте уже снова нельзя было ни пройти, ни проехать.

В нынешнем году зима не удалась. Стоял декабрь, а снега еще не видывали: сыпалась ночами ледяная крупа, обволакивая землю, деревья, дома, купола соборов и церковей блестящей коркой – казалось, будто все перемазано медом, – а к полудню теплый ветер слизывал этот непрочный гололед, оголял землю, деревья, дома, купола, все становилось серым, мрачным...

Ивана злила непогода: не любил он слякоти и сырости, но вместе с досадой и злостью на нынешнюю непогоду в душе у него разрасталась и разрасталась томительная успокоенность, от которой ему временами становилось не по себе, словно он вымолил у кого-то эту успокоенность, чтобы скрыть за ней свою радость и свой стыд: радость оттого, что непроходимые дороги и незамерзшие реки помешают Девлет-Гирею пойти на Москву, а стыд – что не он и не сила его останавливают хана... Случись хорошей зиме, и крымцы, пожалуй, уже разгуливали бы по Русской земле, и ему снова пришлось бы откладывать задуманное. Помнил Иван, как перед Казанским походом, когда он увел свои войска за Оку, хан набежал на незащищенную Москву, сжег и разорил посады, разграбил московские и тульские земли и даже на Рязань приступом ходил. Пришлось ему тогда поворачивать полки и гнать хана вон. Как бы и теперь не повторилось такое...

Иван звал в себя сомнения, но чем настойчивей он старался вселить в себя страх перед неизбежностью прихода Девлет-Гирея, тем прочнее становилась его уверенность в том, что хан не выйдет в такую зиму из своих улусов.

Конь брызгал грязью, пробивая копытами верхнюю, подмерзшую, корку земли, иногда увязал то передними, то задними ногами так глубоко, что в испуге вскидывался и рвался в сторону, но Иван крепко держал узду. Федька что-то говорил ему: не то просил о чем-то, не то жаловался на кого-то... Иван почти не слушал его, но Федькина болтовня была кстати: никто не решился бы помешать ему развлекать царя разговором. Под такой надежной защитой Иван мог спокойно предаваться своим раздумьям. Мысли его были тяжелы, но созревшее исподволь решение уже волновало его, и горечь, и злость от столкновения с думой, от предательства Бельского, от дрянности погоды растворялись в этом волнении, оставляя в душе только тревожную неопределенность и болевое, изнурительное чувство нетерпения.

...К полудню, объехав Москву через северную сторону и осмотрев укрепления западного пояса, доехали до старого Николо-Угрешского монастыря, сожженного и разрушенного еще Магмет-Гиреем. Сорок лет смотрит черными проемами окниц, как глазами слепого, в каждую русскую душу мертвый монастырь...

Перед Казанским походом приезжал сюда Иван набираться ненависти к иноверцам, сходил с коня и становился на черные мшелые камни, клянясь отомстить, – теперь он снова здесь...

С темных, изъеденных огнем стен разрушенной надвратной церкви монастыря смотрят на него спокойные, немного грустные глаза: в них нет укора, в них нет ненависти, нет злобы, и страданье смиренно в них... Как защитить эти глаза и как защититься от них? Ринуться в Крым, доверившись Богу и удаче?! Но не там – в пустынной, дикой степи – будущее Руси, ее сила и могущество! И мечты его, и планы – дерзкие, честолюбивые – тоже не там!

Что же скажет он этим глазам? Какой клятвой нынче перед ними поклянется? И не будет ли эта клятва самым великим его грехом, который он когда-либо возьмет на свою душу? Может, просто отвернуть коня и не видеть, не терзаться... Но с каждой иконы заутрене и вечерне эти глаза будут пытаться его, будут сочить ему в душу свою нечеловеческую тоску и допрашивать – настойчиво, неотступно и властно: «Таков ли должен быть христианский царь, чтоб за веру свою не стоял супротив недругов? Чтобы ради замыслов своих оставлял на поругание святыни свои?»

Все, что тревожило Ивана в последнее время, сомнения и страхи, неуверенность и неопределенность, решенное и нерешенное – все разом сошлось вдруг в его душе, сбилось в комок, отяжелело, и почувствовал он, как надломилась его воля, как заметались его мысли – но не от страха, не от безысходности, не от сомнений в правоте своей: пришло к нему вдруг и разбередило его душу озлобляющее сознание одиночества. Он царь, но он одинок, одинок в своих мыслях, одинок в своих устремлениях, в своих помыслах, в своих надеждах... Никто не стоит с ним рядом, никто не болеет его болью. Суровая отверженность – тяжкий его удел – наполняет каждый день его жизни жестокостью и насилием, и только жестокостью и насилием расшатывает он устоявшуюся исконность, только жестокостью и насилием подчиняет себе непокорных и равнодушных, только жестокость и насиле ведут его к цели. Он всемогущ, но и в своем всемогущии он тоже одинок: все, чего хочет он – хочет только он, все, чего не свершит он – никто другой не свершит. Так было всегда: всяк, кто рождался на царство в Москве, должен был нести сей тяжкий жребий радения обо всей Руси. Теперь этот жребий выпал ему, и не волен он отказаться от него, не волен отойти от дел, не волен даже отдаться Богу – душой и мыслями, уйдя в монастырь, – не примет Бог его смиренной жизни: не к тому он призван, и не быть ему праведником, и не быть ему монахом – быть ему царем.

– Коли вдруг в монастырь уйду, что делать станете? Куда поденетесь? – спросил неожиданно он и пристально оглядел всех пытливым взглядом.

Вопрос был обращен ко всем сразу, и потому на него никто не ответил. Именно потому... Иван это понимал, да и спрашивал он просто так, от одной лишь досады, чтоб отогнать от себя свои тягостные мысли, но, не получив ответа, все равно обозлился.

Федька, почуяв это и разом осмелев, защищенный царским гневом, стал ехидно, во все глаза пялиться на Воротынского и Шереметева, будто лишь к ним одним обращался Иван.

Шереметев в душе плюнул Федьке в глаза, но виду не подал ни малейшего, что его дерануло по сердцу холопье Федькино ехидство. Хитер был старый боярин: двух государей уже пережил, с этим тоже третий десяток доживает – и Бог милует, хотя и попал однажды впросак – случилось посидеть в темнице... Вреда, однако, почти никакого не принесло ему это заточение: взял царь с него поручную запись в десять тысяч рублей с девяносто пятью поручителями – боярами да детьми боярскими, на том дело и кончилось. Зато в думе снискал он за свою опалу, и более всего – за темницу, отношение к себе почтительное, что, впрочем, никаких выгод ему не принесло, но честолюбие его было потешено. Теперь же во сто крат сильней острожночал боярин и гонор свой укорачивал, но без явного уничижения, чтоб не отвернулись от него почитатели, а недруги не возымели повода к злословию. Да и зачем ему на рожон лезть? Воротынский – тот сторону свою гнет, намерения разные имеет, да и кровь рюриковская вос-

кипает в нем, а ему, Шереметеву, породу свою выставить – только кур смешить. Не низкого рода, не захудалого, есть и пониже, и похирей, но все же не исконного, не от корня... Да и какой толк кнутом по обуху хлестать? Не перешибить его кнутом, не перешибить! Сколько их сыскивалось таких! Ростовские да Лобановы против царского дома поднимались, Старицкие с новгородцами бунт учиняли... А Бельские? А Шуйские? Да те же Воротынские! Один из них уже в монастырь, к Богу, побежал душу свою спасать. Защитит ли его Бог?! Другой тоже – не сегодня завтра в темнице очутится либо в ссылке... Есть у Шереметева верный человек в царских покоях, сказывал, что много у царя против воеводы гнева накопилось, да и царица лютой ненавистью ненавидит воеводу за его зубоскальство над ее бусурманской кровью. Братья царицыны – Темрюки – ждут не дождутся опалы Воротынского: давно на вотчину его зубы наточили. И жалко Шереметеву воеводу: к нему самому он никогда никакого зла не питал, хотя и завидовал его уму и таланту военному, но и уважал его за это. И присоветовал бы он ему осмотрительней быть, рассказал бы, что знает, да уж больно норовист воевода: чего доброго, не поверит еще да у самого царя вздумает узнавать... Нет уж, тут каждый сам за себя – и пред Богом, и пред царем! И допрежь всего – пред царем! Да еще пред таким! Не знаешь, чего ждать от него: то ли дикость какую-нибудь и злобу, то ли потеху, от которой не меньше заходится сердце, чем от дикости. Вот и сейчас: что там у него на уме, что затаил в своем вопросе? Ответишь, ан невпопад... Но вовсе не отвечать – еще хуже.

– Куда ж мы подемся? – вздохнув, с простоватостью ответил Шереметев. – Иному государю служить учнем. – А про себя подумал: «За тобой вослед, знатно, не отправимся».

– Буде, уже и присмотрели себе иного государя? Оттого и к службе не радеть стали? Ты, Воротынский, в прошлом году из Серпухова медлил на хана, дал ему без урона уйти в степь, весь полон дал увести... Да и ты, Шеремет, все больше хворым сказываешься... В тягость вам служба мне.

– В поле две воли, государь, – угрюмо сказал Воротынский. – Хан тоже стратиг изрядный... – Он не стал оправдываться, хотя в том, что хана не сумели догнать, больше был виноват князь Владимир Старицкий, двоюродный брат Ивана, стоявший тогда во главе войска. Не желая ни с кем делить удачу и царское жалованье, Владимир решил сам настичь хана, поэтому, вместо того чтобы разделить войско на части и отправить отдельные полки – главным образом конницу – к основным бродам через Оку, где только и можно было перехватить стремительно уходившего хана, он стал преследовать его всем войском. Но русским полкам, с их медлительной пехотой, с громоздким нарядом⁵, угнаться за необычайно подвижным татарским войском было не под силу. Хан уходил... Когда Владимир понял, что самому ему хана уже не догнать, он послал вдогонку за ним Воротынского, но время уже было упущено – хан успел уйти в степь. Так было, но об этом Воротынский никогда не говорил и не скажет Ивану: достоинство и честь не позволяли ему прятаться за чужие спины.

– ...Я сделал все что мог, и Господь простит мне.

– Но я, государь твой, не прошу тебе!

3

Князь Андрей Курбский последнюю ночь пребывания в Москве проводил на своем осадном дворе. У большинства бояр и воевод осадные дворы были запущены, а то и вовсе не обжиты – держали их в Кремле на случай войны, чтоб было где отсидеться во время приступа, – у Курбского же осадный двор был в порядке, и обжитой, и устроенный... Держал он на нем слуг, и часто наезжал сам, проводил много времени в уединении, читая старые свитки и книги. Хранил он их в особой келейке, хитроумно выстроенной по его собственному плану.

⁵ Наряд – артиллерия.

Курбский ходил в любимых у царя, в почестях был и славе, хотя после поражения под Невелем, где его разбил литовский гетман Радзивилл и где сам князь получил тяжелую рану, царь поохладел к нему. Еще весной он назначил его наместником в Дерпт, но рана не дала князю тотчас отправиться в Ливонию, и он задержался в Москве.

Царь не торопил его и даже гостинцы посылал, однако Курбский подозревал, что Иван лицемерит: не по случайной прихоти и не для особо важных дел, казалось князю, отправлял он его в Дерпт. Туда же – два года назад – отправил он и опального Адашева, который и помер там – то ли от горячки, как говорили князю, то ли от яда, как думал он сам.

Недоброе предзнаменование чуял в этом назначении Курбский. Уже давно, с тех самых пор, как царь отдалил от себя Сильвестра и Адашева и яростно завраждовал с Боярской думой, закралась в душу князя тревожная смута и не отпускала его, не давала ему покоя. Видел он, как изменился царь, как загорелся настырной злобой и ненавистью ко всем, кто еще недавно был дорог ему и близок. Видел князь, как один за другим попадали в опалу, изгонялись в ссылки, бежали в монастыри его единомышленники и друзья, и все стремительней, все настойчивей надвигалось на князя страшное предчувствие неотвратимой беды, что занеслась и над ним.

С грустью и болью думал он, что, быть может, никогда более уже не доведется ему видеть Москвы, слышать ее колокола, ходить в ее храмы, думал и сам не понимал – почему прихлынули к нему эти мысли, почему уныние, никогда ранее неведомое ему, вдруг обуяло его с такой силой? И, как прежде, кинулся он в свою заветную келью, к своим свиткам и книгам, надеясь в их спокойной мудрости обрести необходимую ему твердость и силу.

Слуг он всех отпустил, даже сторожей не оставил у ворот. Один только Васька Шибанов, верный и незаменимый его служка, оставался на конюшне, чтобы утром подать князю коня.

Ярко горели три толстые свечи... Князь быстро, нервно писал на большом листе отбеленной голландской бумаги, часто откладывая перо и надолго погружаясь в угрюмое раздумье.

...Выученник мудрейшего и благочестивейшего монаха с Нового Афона – Максима Грека, Курбский с малых лет пристрастился к чтению и писанию. Максим Грек исправлял и переводил на славянский язык разные богослужебные книги, толкования их, переводил апокрифы, исторические сказания из греческих и латинских книг, хранившихся в московских монастырях, и приобщал ко всему этому молодого княжича, напивая его целомудрием и умиротворяя юную душу премудростью богословия. Но ни знания, ни благолепие его отрочества, ни иноческие наставления добродетельнейшего учителя возлюбить худые одежды, худую пищу, огорчать плоть суровым житием не убили в Курбском дерзкий и мужественный дух воинственных предков его – удельных ярославских князей. Не ряса стала его одеждой, а стальные доспехи воеводы, и стезя войны повела молодого князя к славе и почестям. Он ходил на Казань, бился под Астраханью, воевал в Ливонии... Ратные дела, походы, сражения наполнили князя суровым равнодушием и презрением к праздной мирской жизни: не любил он ни царских пиров, ни буйных потех со скоморохами, ни соколиной охоты, куда часто зазывал его царь... Но страсть к книгам, к чтению, к писанию не вытравилась из него.

Память о своем наставнике, обвиненном в ереси и свезенном в оковах в Иосифо-Волоколамский монастырь, непроходящей болью жила в душе князя, но суровая судьба, постигшая его учителя, останавливала князя от прямого противления. Он прятал и таил в себе чувства, горько сознавая свое бессилие изменить что-либо в том укладе, который омрачал жизнь на Руси. Он терпел и молчал, предпочитая умереть на поле брани, нежели на плахе. Но иногда его захватывало необоримое желание открыть кому-то свою душу, излить свою боль, свою тяжесть, все свое негодование, скопившееся в нем за долгие годы...

Его учителя, наставника и духовника уже не было в живых – он умер в заточении, испытав до конца ненависть своих недругов. Но оставался еще один человек – старец далекого Печерского монастыря во Пскове Вассиан Муромцев. Приверженец и единомышленник Максима Грека, ушедший из Москвы еще в княжение отца Ивана, дабы не зреть распутства и бесчиния

московского духовенства, и принявший старчество в Псковско-Печерском монастыре, Вассиан Муромцев избежал участи Максима Грека. Старчество было неприкасаемо и чтимо особо, чуть ли не наравне со святостью, и никто – ни князь Василий при жизни своей, ни освященный собор – не посмел посягнуть на Муромцева.

Вассиан жил тихой, затворнической жизнью, но дух праведности и благочестия шел от него по Руси: сказители на ярмарках вели о нем сказы, бродячие богомольцы поминали его в своих молитвах, нищие на папертях его именем выпрашивали милостыню...

Этому-то человеку и писал Курбский, тревогой, обидой и горестью наполняя свое послание: «Многажды-много челом бью, помолитесь обо мне, окаянном, понеже опять многие напасти и беды от Вавилона на нас кипети начинают. Словно пожар лютый возгорелся на лице всей земли нашей, и премножество домов зрим от пламени гибнущих... И кто угасит сей пожар, и кто от таковых лютых бед избавит? Где лики пророков, обличающих неправедных царей? Где тот святитель, что воспретит царю законопреступление?..»

4

Иван вошел легко и неслышно. Только тень от него метнулась по стене – хищная, настигающая... Курбскому почудилось, будто она впилась в него, навалилась и придавила к стулу. Он даже плечами повел, чтобы избавиться от этого чувства, и приподнялся...

Иван шагнул к нему, положил руку на плечо:

– Сиди, князь...

Курбский почувствовал, как кровь вдруг разом прихлынула к тому месту, где лежала рука царя.

– ...Небось дивно тебе, – начал Иван и не договорил, словно мигом позабыл, что хотел сказать.

Прямо перед ним на столе лежало написанное, и Курбский услышал, как дрогнули царевы пальцы, лежавшие у него на плече. Курбский поднял на него глаза, не пряча дерзкой насмешливости: ему нестерпимо захотелось увидеть, как по-холопы, бесстыдно и воровато, бегают по его эписистолии Ивановы глаза. Он впился взглядом в Ивана, готовый чем угодно заплатить за удовольствие видеть его позорную униженность, но Иван, скосившись на него, перехватил его дерзкий взгляд и отстранился – устало и равнодушно. Курбский, ожидавший иного, разом сник, будто лопнула в нем та самая жила, на которой держались его дерзость и бесстрашие.

– Все монахам пишешь, – глухо, но беззлобно сказал Иван и отошел к стене, придавив собой свою тень. Он стоял рядом с маленькой, вжавшейся в стену тенью Курбского – громадный, сильный, грозный... – Душеспасители твои! – Он криво усмехнулся. – Не больно ль мы им доверяемся?! Злохитрством юродивым проникают они в наши души и выют там гнезда змеиные. Нам, сильным от дедов наших, не пристало, князь, чернцам души свои вверять. Лишь Бог один и утешитель наш, и судия наш.

Курбский тихо проговорил:

– Они в непрестанных молитвах о душах наших. Все благолепное в мире оном – от них, государь.

– Чую, чую дух афонского мудреца, – не то с насмешкой, не то с завистью сказал Иван. – За то тебя и люблю! Знаю мысли твои, князь, душу твою знаю... Но люблю. За ум твой! А буде, и за то, что духом с тобой мы едины.

Он пристально посмотрел Курбскому в глаза, сел, откинул полы шубы, уперся рукой в колено, словно оберегаясь, чтоб не приклониться близко к князю, и высказал все, что думал:

– Ты вон жалуешься на меня монахам, о нерадении державы и кривине суда пишешь, а я к тебе с любовью пришел... Я, государь, которому ты крест целовал, пришел тебя просить,

чтоб ты крестоцелование свое не преступал, чтоб верным остался мне... Понеже и ты в недруги уйдешь, кто еще останется?

Голос Ивана, грудной, надрывный, как приглушенный стон, заполнял всю келью и не исчезал, не растворялся, а все скапливался, скапливался, сгущаясь и тяжелея, как туча в грозу, и чем дольше говорил Иван, тем бесприютней становилось на душе у Курбского... Он чувствовал себя чужим в этих стенах, и все окружающее тоже казалось ему чужим, словно не Иван пришел к нему в дом, а он к Ивану. Иконы, книги, свитки, ковры, оружие – все, что всегда радовало глаза князя, что с любовью и старанием было собрано им, все вдруг стало никчемным и ненавистным. Уют, тишина, покой были разрушены, и князь с отчаяньем начал сознавать, что никогда уже в этом доме он не найдет той свободы и того радостного одиночества, которые всегда обретал в этих стенах.

А Иван говорил и говорил, настырно и зло, и совсем не как царь, а как простой мужик, и все в нем было мужичье: и большие жилистые руки, и неряшливая бороденка, и голос, и глаза – лупатые, как у торгаша с торгового ряда, – только злость была – царская. Она была с ним всегда, эта его злость, даже и тогда, когда он пребывал в благодушном настроении.

– Чую, Богом назначено мне Русь возвеличить и всем ее недругам воздать по заслугам! – Иван встал, снова отступил к стене. Он словно боялся пустоты за своей спиной. – Ради сего святого дела никого не пощажу – себя також! Ты супротив пойдешь – и тебя... Но лучше сему не быть! Хочу тебя другом иметь, как прежде!

– Я холоп твой, – стараясь не выдать дрожи голоса, ответил Курбский. – Дружба твоя мне в милость.

– К холопам царь не пойдет самолично... И милость моя тебе не в честь. Не искал ты ее лизоблюдством...

– Царская милость всегда в честь. А немилость – в беду.

– Упрек в твоей душе лежит, тяжелый упрек... Выскажи его! Но паче – смирись! Оставь упреки в себе. Знаю, ты с ними был... С Адашевым купно стояли во всяком деле... Старания ваши не дурны были... Но коли мне назначено Богом Русью править, како ж я могу по вашей мысли ходить?

– Мы того в намерениях не держали. Мы, как и ты, о Руси пеклись.

Иван снова приблизился к Курбскому, стал за его спиной, положил ему руки на плечи. Курбский услышал его прерывистое, взволнованное дыхание.

– Пусть им... Их уже нет! И они не стали бы стоять за тебя, как ты стоишь за них. Не озлобляйся, князь, не слушай наветчиков и злопыхателей! Нашепчут они тебе всякого... Да токмо я один знаю, как будет. Не в ссылку тебя ссылаю... Слава твоя и искусность военная будут врагов наших в тревоге держать – для того и едешь ты в Ливонию. Уцепиться нам надобно за землю немецкую... В крепостях повоенанных укрепиться, дабы не выбили нас оттуда, войско в исправе держать... Верная и искусная рука потребна для сего. Не будь тебя, князь, сам принужден был бы пойти!

«Не верю!» – хотел крикнуть Курбский, повернуться – чтоб лицом к лицу – и крикнуть прямо в глаза Ивану... Но вместо этого спокойно произнес:

– Я свой долг исполню, государь.

Иван снял руки с плеч Курбского, сопнул, как застоявшийся конь, тяжело отступил к двери:

– Пришел я тебе большее поведать, да, вижу, зря пришел. Прощай, князь!

Иван помедлил, ожидая, что Курбский в последний момент оставит свое упорство. Но Курбский молчал. Он не принял Ивановой искренности, не поверил в нее, и между ними уже навсегда разверзлась пропасть, которая разделила не только их – которая разделила Русь, разорвала ее уклад, которая через многие судьбы пролегла черной бедой, и никто из них – ни Иван, ни Курбский – не сознавал еще всей жестокости и всех последствий их разрыва.

– Прощай, князь, – совсем уже тихо повторил Иван. – Исполни свой долг... Не передо мной – перед отечеством.

5

В то утро, когда князь Курбский отбыл в Ливонию, из Москвы, из Посольского приказа, отправлялось в Крым большое посольство. Думный дьяк, глава Посольского приказа, Иван Михайлович Висковатый еще раз перечел посольские грамоты, привесил к ним царские печати и приказал упаковать их в окованный железом сундук.

На возы были уложены подарки всем ханским мурзам, князьям, царевичам: шубы собольи, горностаевые, рысьи, панцири и кольчуги, разное оружие, седла, сбруя, серебряная утварь, кубки, блюда, енды, кумганы, а также жемчуг, парча, шелк – для ханских жен и царевен...

Самому хану царь слал полдюжины молодых, обученных охоте кречетов, пять сороков соболей, две тысячи белки, рыбий зуб, серебряные и золотые кубки... Все это было уложено на главный воз, на котором ехал сам большой посол Афанасий Нагой.

В Крыму любили подарки – и не только сам хан... Все его царевичи и царевны с каждым посольством слали Ивану великое множество грамот и поклонов, требуя подарков, и всех их надобно было одарить, чтоб не было обделенных и недовольных. Кроме родственников хана, его жен, царевичей и царевен, надобно было одаривать всех мурз, князей, уланов, чтобы и среди них не было недовольных, ибо от них больше всего зависело – удачно или неудачно будет правлено посольство. Стоило обделить какого-нибудь мурзу или князя, и он самовольно, со своим собственным войском, шел на промысел в Русскую землю. Хан отписывался тогда в грамотах, что воли его на тот промысел не было, но мурза или князь сам пошел добывать себе то, чего не дослал ему Иван.

Нынче везли богатые подарки, чтобы всех оделить и задобрить, ибо мир с Крымом был очень важен. Война за Ливонию оборачивалась не так, как хотелось бы Ивану... Не в силах в одиночку противостоять Москве, Ливония стала искать защиты у соседей: ревельцы отделились под власть шведского короля, эзельские земли купил датский король Фридрих, а остальная часть Ливонии отошла к Литве и Польше. С потерей Ревеля и эзельских земель Иван на время смирился и не поминал о них ни шведам, ни датчанам, заключив с ними мир, но уступать остальную, еще не завоеванную им часть Ливонии Польше и Литве он не собирался. Потому-то и был так нужен мир с Крымом. От этого мира зависело, будет ли Москва вести войну на две стороны, воюя с Литвой за Ливонию и отбиваясь от татар, или же можно будет обезопасить себя миром от Крыма и всеми силами выступить против Литвы.

Это хорошо понимали и в Польше, и в Литве... Сигизмунд-Август тоже слал большие подарки Девлет-Гирею, переманивая хана на свою сторону. Но если Сигизмунд хотел от хана союза в войне и требовал от него похода на Москву – Иван хотел только мира. Заключить с Москвой мир, получать большие подарки и сидеть в своих улусах, по мысли Ивана, хану было гораздо выгодней, чем ввязываться в войну и выступать в далекий и трудный поход через безводную степь, где хан всегда терял половину своей конницы. На это и рассчитывал Иван, посылая Нагого с посольством в Крым.

...Все было готово к отъезду. Ждали только Ивана.

Афанасий Нагой сидел на сундуке с грамотами, разодетый, в двух шубах, собольей и медвежьей поверх – для дороги. В большой избе приказа было жарко, но Нагой не снимал шуб, боясь, как бы царь не застал его не готовым к дороге.

Нагой был именит и знатен, но еще молод и с посольством отъезжал впервые. Висковатый опасался, как бы он не промахнулся в чем-нибудь... Изредка, сухо, но вразумительно, давал последние наставления:

– Ежели от других государей будут послы у хана, от турецкого иль от иных, – ни под которыми послами у хана не саживаться и остатков после них не брать. Королевским послам дорогу не уступать и, ежели в один день с ними будете званы к хану, идти первыми или идти на другой день.

– Како ж иначе, – раздумчиво отвечал Нагой. – Честь свою соблюдем.

– И на задирки не отвечать!

– Сие непременно...

Висковатый вновь задумался, перебирая в памяти, все ли оговорил Нагому? Понимал опытный и искусный в своем деле дьяк, не один уже год главенствующий над Посольским приказом, на какое трудное дело отправляется Нагой. Всего лишь несколько лет назад завоеваны были Казань и Астрахань, из-за которых сам турецкий султан не дает хану покоя, требуя во что бы то ни стало вернуть мусульманскому миру эти земли, и взять с хана шерть – присягу в верности – сейчас было настолько трудно, что даже Висковатый, знавший жадность хана и его готовность благосклонничать с тем, кто больше даст, мало верил в успех снаряжаемого посольства. Он подозревал, что и сам Иван не очень надеется на благоприятный исход...

Выговорить мир у хана можно было только уступкой Казани либо Астрахани. Но на это Иван не пошел бы никогда: слишком много значило для Руси завоевание этих татарских царств. Это были не просто земли, завоеванные ради прихоти или алчности царя, ради расширения владений и приобретения богатств. Завоевание этих царств было окончательным избавлением от татарской опасности, которая триста лет, как тяжелая туча, нависала над Русской землей. И Иван скорее отказался бы от Ливонии, чем допустил, чтоб над Русью вновь скопилась эта мрачная туча. К тому же покорение Казани и Астрахани было самой великой его гордостью: то, о чем мечтали и к чему вековечно стремились его пращуры, свершил он, и понимал Висковатый, что храм Покрова, воздвигнутый им у Кремля, на торговой площади, воздвигнут не столько в честь омофора Божьей Матери, который она простерла над Русской землей, чтоб навсегда избавить ее от ненавистной Орды, сколько в назидание Руси, ее нынешним и будущим поколениям, что это он, Иван, своим рдением и мечом добыл это освобождение.

Правда, был еще один путь, которым можно было добыть от хана шерть... Для этого нужно было немедля вторгнуться в Литву, прямо во владения Сигизмунда-Августа, воевать против которого не решался и сам хан. Доказать хану этим вторжением свою силу и вынудить его заключить мир. Да и Сигизмунд на какое-то время оставил бы свои подстрекательства и заигрывания с ханом: решительные действия Москвы заставили бы его больше думать о безопасности своих владений, чем о союзе с ханом.

Но Висковатый понимал, как труден этот путь; стояла зима – самая неудобная пора для похода, к тому же вялая, с частыми оттепелями, которые сменялись резкими морозами и сильными гололедами, дороги были гиблы и непроходимы – тяжелый стеной наряд проташить по ним было почти невозможно, а без него к литовским крепостям и подступать было незачем. Да и риск был огромный: король мог уговорить, ублажить хана подарками и посулами и тот, несмотря на ненастье, безводицу и бескормицу в степи, мог выступить в поход на Москву.

6

Иван приехал верхом, легко одетый. Дворня, подьячие, приставы, толпившиеся возле посольских возов, пригнулись к земле, только колпаки да островерхие папахи остались торчать за высокими стоячими воротниками, делая собравшихся схожими с чучелами. Обозники и конюхи вовсе бухнулись на колени – прямо в разжиженную снегом грязь, – посдирав треухи со своих косматых, потных голов, от которых валил сизый пар.

Федька Басманов, сопровождавший царя, с трудом отворил перед ним тяжелую, набухшую дверь приказа и люто глянул на остолбеневших стрельцов, стоящих при дверях.

Висковатый склонил голову, встречая Ивана, а Нагой только встал: по обычаю он не должен был кланяться царю... Отъезжающий с посольством большой посол удостаивался такой чести – не снимать шапки и не кланяться государю, дабы эта милость помогла ему вынести все беды и унижения, которые терпели послы у чужеземных государей. Обычай этот шел со времен Батгя, когда послы русских князей нередко уходили на верную смерть.

– Все готово, – спокойно сказал Висковатый. – Грамоты о печатях... Уложены в сундук. Поминки на возах.

– Кречетов как везете?

– В клетке, государь, обитой росомашьим мехом...

– Смотрите, доведите... Хан больно любит кречетов.

– Сие непременно, государь!

– По твоему указу, государь, нынче в грамотах почтенья не блюли. Писано вольно: «Божиею милостью великого государя царя и великого князя всея Руси, московского, новгородского, казанского, астороханского, немецкого и оных – великой Орды великому царю, брату моему Девлет-Гирею с поклоном слово...» – прочитал Висковатый по черновому списку грамоты.

– Сносно писано, дяк... Коли примет хан наши грамоты, отныне будем писать ему как равному. Непригоже нам, победителям Казани и Асторохани, челом хану бить. – Он повернулся к Нагому и наставительно прибавил: – Ежели станут спрашивать о Казани – отвечай: Казань во всей государской воле! Церкви в городе и по уездам многие поставлены, в городе и на посаде все русские люди живут... Скажи також, что зимой было на государевой службе в ливонской земле одних казанских людей с пятьдесят тысяч... Астороханских – тысячи с две... Оттого, скажи, астороханских людей в дальние походы не берем, что им ходить далеко, а ходят они на тамошние службы – в Юргенч, в Дербент и в иные места, куда их воеводы пошлют.

– Уразумел, государь... Еще и приукрашу, дабы не думал хан, что земли, тобой повоеванные, впусе стоят.

– Неумно говорить оберегись, – недовольно обронил Иван. – И лишнее – також!.. Как бы не позабыл похвальбы своей и хан не поймал тебя на слове.

– Слово в слово перескажу, государь...

– Станет хан казны требовать – отвечай: в пошлину никому ничего не даем и дружбы не покупаем. Станет меж нами доброе дело, так мы за поминки не постоим.

Иван смолк. Глаза его ушли глубоко в глазницы – он как бы отрешился на миг от всего, о чем только что говорил и думал. Что-то другое, более важное и волнующее, захватило его. Но тут же взор его вновь обострился, он ободряюще посмотрел на Нагого и приветливо сказал:

– Сядем! Пред дорогой.

Сел первый и перекрестился. Перекрестились Висковатый и Нагой. Нагой – дважды... Иван заметил это, мягко, с неожиданной теплотой сказал:

– Ободришь, Афанасий, и гораздо делай свое дело. Мы тебе споможем... – Он встал, твердо, уверенно повторил: – Споможем! Татары еще лебезить пред тобою станут.

Висковатого вдруг, как боль, пронизала догадка, и он с ужасом и восторгом подумал: «Пойдет в Литву...»

Иван вышел, не затворив за собой двери... Холод ворвался в избу, вместе с холодом – запах лошадей, навоза, талого снега... Нагой постоял немного, глядя на окаменевшего Висковатого и раздумывая над словами царя, и тоже вышел, не поняв ни Ивана, ни состояния дяка. А Висковатый стоял посреди избы, овеваемый врывающимся холодом, и в радостном изнеможении думал: «Он пойдет в Литву... Он пойдет в Литву...»

Глава третья

1

Шереметев спокойно воспринял заочение Бельского. Знал он и хитрость думного главы, и его изворотливость, знал, что все обойдется, – выйдет сухим из воды царский племянничек. Сам митрополит не преминет вступить за него, и уж, конечно, ни пытаться, ни гнать в ссылку его не станут. Все сойдет ему с рук, на то он и Бельский! Но опала Воротынского, которого царь повелел сослать на Белоозеро, растревожила Шереметева. Хоть и знал он загодя, что скопились над воеводой тучи, но не допускал мысли, что царь уступит царице и изгонит своего первого воеводу. Больно уж бездумна должна быть уступка, особенно теперь, когда со дня на день ждали набега крымцев. Не верил старый боярин, что царь в угоду строптивой царице и ее завистливым братьям убрал из войска самого искусного воеводу. Не верил, оттого и тревожился! Чужало его сердце – не в царице тут дело... В самом Иване!

С какой тайной мыслью выезжал он тогда в объезд и брал с собой вместе с Воротынским и его, Шереметева? Уж не хотел ли проведать о мнящейся ему тайной связи между ними? Не подозревает ли он их в каком-нибудь сговоре?

Мучился этой мыслью Шереметев и, не в силах предугадать ничего наперед, готовился к самому худшему. Затворившись на своем подворье, что находилось в Кулишках, на Серпуховской улице, целую неделю не отпирал ворот, не выпускал слуг и челядь, не выезжал даже в думу. Присланному из думы от Мстиславского стряпчему было сказано, что боярин захворал сонной болезнью и спит без просыпу день и ночь.

По ночам Шереметев тайно прятал свое добро. Без огня, воровски, закапывал в землю золотые кубки, блюда, чаши, мешки с серебром и жемчугом, обернув в рогожи, зарывал дорогие иконы, кресты, лампы и все думал с замиранием сердца и гордым злорадством, как ответит он Ивану, когда тот станет допытываться о его богатстве, что оно руками праведных перенесено в небесное сокровище, ко Христу.

Шереметев не боялся смерти, даже самой мучительной... Подступившая старость отяготила его жизнь, забрала у него силу, напористость, притупила в нем страсти, и даже гордыня его стала смиренней, уемней... К своей судьбе он был равнодушен и не хотел прятаться и бежать от злобных царевых посягательств. Тревожила его только судьба своего рода. Знал он, скольких бы ни свел на плаху Иван, род устоит, ежели сохранит свое богатство. Богатство возвеличит его, поднимет из любой пропасти!

2

Опала Воротынского встревожила не одного Шереметева. Когда Висковатый огласил в думе опальную грамоту на Воротынского, все переполошились... Один лишь Мстиславский остался спокойным. Во всяком случае, внешне. Но иначе и быть не могло: взяв после опалы Бельского все дела презираемой Иваном думы на себя, он стал отныне не только руководителем, но и охранителем этой боярской твердыни, а охранителю, как никому другому, нужны были спокойствие и ясный ум.

Мстиславский понимал, что царь давно уже ищет повод для окончательного разрыва с думой. Пока что он лишь вознегодовал, отстранился от нее, стал решать многие дела самостоятельно, но для того чтобы окончательно лишит думу власти, одних разногласий было недостаточно, нужны были более веские причины...

Мстиславский подозревал даже, что опалой Бельского, а особенно Воротынского, Иван рассчитывал вынудить думу к открытому протесту, который он мог расценить как бунт против него, и получить таким образом самый лучший повод для решительной расправы с думой. Потому-то и сам Мстиславский остался спокойным, и в других не дал разгуляться страстям. Серебряный, Немой, Кашин потрясали руками и призывали всех идти к митрополиту, чтобы вместе с ним урезонить разнудавшегося царя. Особенно негодовал Серебряный. Он вопил на всю палату, взывал к Богу и проклинал тот день, когда в злосчастной Московии зачался его род.

Мстиславский знал, что и в самой думе много бояр и окольничих, которые тайно держат сторону царя и для собственной выгоды не преминут воспользоваться раздорами в думе, – донесут на недовольных и строптивых. Этого нельзя было допустить. Мстиславский решительно и твердо осадил Серебряного:

– Уймись, князь! Пошто волю дал словам, а ум под зад спрятал! Кто невинный в опале ходит? Ты иль я? Пошто в чужой вине правоту ищешь, а в царской правоте усомняешься?

Уняв Серебряного, Мстиславский начал говорить увещательное слово ко всем боярам. Говорил спокойно, но как-то уж больно странно, явно с заведомой заумностью:

– Бояре! На том наша воля и воля царская, чтоб быть на земле нашей согласию во всем! И противлению некоторому не потакать! Пусть каждый помнит над собой Бога и поступает, как велит ему его совесть!

Немой в недоумении вытаращил глаза, силясь понять что-либо в словах Мстиславского, но суть ускользала от него, и он не знал, как повести себя: то ли оскорбиться и покинуть думу, то ли смолчать и остаться?

– ...Бояре, сплотимся, оставим все наши раздоры, дабы беды не захватили нас и не нанесли урон нашему делу...

Только теперь Немой смутно уловил что-то, но сомнение не покинуло его. Он поглядел на Серебряного. Тот тоже хмурился и тоже, видать, не понимал Мстиславского.

– ...Коль не приемлет государь наших встреч⁶, мы повинимся пред ним и согласимся, дабы не терпеть лиха ни ему от нас, ни нам от него.

Серебряный усмехнулся при этих словах Мстиславского и глухо сказал:

– Согласимся, но правоты своей назад не заберем.

– Неужто без истинного согласия мы честно дело свое сделаем? – подал голос князь Горенский.

Он произнес это мягко, даже робко, и с искренним удивлением, но все повернулись к нему с таким видом, будто каждый получил удар в спину. Даже Мстиславский растерялся и не нашелся, что ответить.

Горенский, оглядев натянутые, встревоженные лица, прежним тоном сказал:

– Государю от такого нашего согласия хуже, нежели от противления. Коли души наши захвачены другим и мысли наши обращены к противоположному – не будет ладу ни в чем!

– Верно речет князь Горенский! – громко, с вызовом сказал окольничий Зайцев.

В палате наступила тяжелая, враждебная тишина. Каждый чувствовал себя обвиненным, и каждый боялся даже возразить на это, дабы не дать повода подумать остальным, что принимает сказанное Горенским на свой счет.

Мстиславский все же сказал:

– Знатно, то про себя речет князь Горенский? Так нам до него дела нет! Он своим умом живет и по своей мысли ходит.

– То он про вас, про всех, изрек, – сказал угрозливо Зайцев и зловеще удалился из палаты. За ним последовали несколько бояр и окольничих.

⁶ Встреча – здесь: противоречие, возражение.

Во время этого переполоха Висковатый сообщил Мстиславскому о том, что уже незачем было скрывать:

– Поход в Литву будет. Басманов и Щенятев с Шуйским к войску посланы.

Мстиславский вынес и это, только про себя подумал: «В Литву – без Воротынского и Курбского?!»

Бояре стали разбегаться из думы, как мыши из горящего амбара. Мстиславский их уже и не удерживал.

Серебряный с Немым задержались... Но если Серебряный снова закипел негодованием, то Немой остался в думе только затем, чтоб своим поспешным уходом не навлечь на себя подозрения в трусости.

Серебряный был вне себя от царского произвола и думал только об одном: как принудить Ивана вернуть из ссылки Воротынского? Мстиславский думал о другом: о том, что сообщил ему Висковатый. Для него это было полной неожиданностью и озаботило сильнее всего прочего, ибо он очень хорошо понимал, как ополчатся бояре против этого неожиданного похода. Открыто воспротивиться, конечно, никто не решится, и не об этом тревожился Мстиславский, но он знал, как хитро и ловко умеют они строить свои козни, особенно в войске, где у каждого свои люди... Родовые связи и круговая порука дают им возможность почти без риска противостоять царю в любых его делах и задумах, не угодных им. Предыдущий, Ливонский, поход, предпринятый Иваном весной прошлого года, закончился неудачно, и все из-за того, что бояре и воеводы тайно мешали ему: то где-то сбился с пути обоз, то неожиданно начался падеж лошадей, не поспел вовремя наряд... Виновных, как правило, сыскать почти невозможно: концы упрятавались умело и надежно, да и не до этого в походе.

Догадывался об этом тайном противлении бояр и Иван, недаром же чаще всего слал в походы их самих. Сами себе уж, конечно, они не вредили. Наоборот, тогда каждый старался все делать наилучшим образом, чтоб отличиться, чтоб заслужить царскую милость: до милостей охочи были все, даже самые строптивые и непокорные.

Как теперь поступит Иван? Пойдет с войском сам или снова пошлет одних воевод? Мстиславский без особого труда мог ответить на этот вопрос. Но сейчас не это было главным. Размышляя над всем этим, он, как казалось ему, начал понимать нечто более важное – он начал понимать, что Иван, несомненно, давно уже задумал этот поход, и если как раз накануне этого похода он шлет годоват в Дерпт Курбского, изгоняет в ссылку Воротынского, заточает в тюрьму Бельского – трех самых лучших воевод, которыми законно гордилось боярство, – то поступает так, конечно, не от одного лишь желания воздать им за их провинны. Он мог бы и повременить с расправой – ради пользы дела, однако не стал этого делать. Стало быть, он преследовал какую-то цель и не гнев руководил им, а расчет, и расчет этот, вероятней всего, состоит в том, чтобы не делиться с боярством успехом в случае удачи, а при неудаче – свалить всю вину на него, на боярство, на думу и таким образом разделаться с ней.

Нужно было пресечь бояр, не дать им навредить царю в этом походе – и во имя их собственного благополучия, и во имя пользы государских. Мстиславский понимал, как это важно: неизвестно, какой ценой пришлось бы расплачиваться за поражение в Литве.

Мстиславский сказал Серебряному:

– Щенятев с Шуйским к войску посланы. Пристанет и тебе, князь, быть при деле – следи, чтоб по чести все творилось. Нерадения и вреда никоторого не допускай!

Серебряный удивленно посмотрел на Мстиславского.

– Говорю – тебе, понеже другим не смогу сказать, – прежним тоном добавил Мстиславский. – Другим – ты скажешь.

– Ужли поход будет? – спросил Немой.

– Может статья... – неопределенно ответил Мстиславский, но на Серебряного глянул твердо: тот понял – будет!

3

Перед самым походом, еще не извещая думу о своем намерении, Иван поехал к митрополиту за благословением.

Митрополит из-за своей старческой хвори жил на загородном дворе, что стоял на Поганой луже. Двор был невелик, но крепок и опрятен: островерхая часовенка с железным крестом, от часовенки переход к главной митрополичьей палате, прируб⁷ – для челяди и иноков, живущих при митрополите. Вдоль высокого тесового забора – конюшни, хозяйственные постройки... Посреди подворья – колодец с журавлем. Крыльцо резное, крашенное жженой охрой с подзолотой; на коньке крыши и по углам, на причелинах, – жестяные кочеты на копьях; оконца заставлены с подсолнечной стороны...

Митрополита ввели под руки два инока, бережно усадили на лавку, замощенную шубой, под ноги поставили столец, молча, будто не видя царя, удалились.

Иван подошел под благословение. Макарий трясущимися руками перекрестил его обнаженную голову. Иван опустился на колени, почтительно поцеловал бессильную руку старца, некогда возложившую на его голову царский венец.

Хотя Макарий и был новгородцем (а к ним Иван питал бессознательную ненависть), Иван любил его. Макарий в его малолетство приглядывал за ним, учил его грамоте, как мог защищал от бояр – был он единственным, кто привечал тогда Ивана и отклонял от дурных забав, от дурных поступков... Мало ли, много ли заронил он доброго в душу Ивана своими наставлениями, но Иван помнил заботу о себе и благоволил к Макарию.

– Дело зело великое призвало тя под мое благословение? – тихо спросил Макарий и слабо повел глазами на Ивана.

Иван поднялся с колен, навис над согбенным Макарием – высокий, сильный, уверенный в себе, – громко сказал:

– В поход иду супротив литовской земли.

– Бояре приговорили иль себе по воле?

– С боярами суду-ряду у меня нет!

– Не Богом ли нашим речено: «Кый царь, идя на брань ко иному царю, не сядет ли прежде советоватися, силен ли он с десятью тысячами противустать идущему на него с двадцатью тысячами?»

– Бог наш рече нам притчу: «Добро есть соль, но коли соль утерает силу, чем осолить ее? Ни в землю, ни в гной не годна. Вон изсыпят ее!»

– Неже бояре умом скудны и в советах пусты, что с осолившейся солью равняешь их?

– Противу меня мыслят. Себе на потребу – Руси во вред!

– Добро в твоей душе да восстанет надо злом... Снизойди до милости! И не приемлешь ли привереду за зло?

– Я ведаю накрепко, владыка, что – зло, что – привереда. Бояре опор мне чинят! Еще тебя супротив меня наущать станут. Ты им в том потакаешь – печалуешься по их вине.

– Коли вина их малая...

– Господь рече нам: «Верный в мале и во мнозе верный, а неправедный в мале и во мнозе неправедный».

– Бельского за сторожи посадил – княгиня плакалась у моих ног, молила о печали пред тобой.

⁷ Прируб – придел, пристройка к основному строению.

– Бельский винил мне вельми... О нем не проси! По таковой вине голову сечь надобно! Он же – лише за сторожами... Дознание учиню, проведу – с кем вкупе супротив меня злоумышлял?

– Воротынский же в чем повинен?

– Тут счет иной! Руки опустил воевода. Не радеет о ратном деле... Летом из Серпухова на крымца медлил... Дал Гирею уйти без урона в степь. Да и иное, о чем покуда смолчу.

– Сведомый⁸ стратиг князь Михайло... Отчего бы он так? Не обиды ль на тя захирели его?

– Нерадив иль неверен! Обиды ж его я постиг: вотчинишку ему убавил – вот его обиды. Отсидится на Белоозере – отобидится. Обойдусь без него – утишится. Не то вовсе возмнил: его руками царство себе пристяжаю.

– Печалуюсь к тебе глаголом господним: «Еже согрешит противу тя брат твой, выговори ему... И еже покается, оставь вину ему».

Иван не ответил, нахмурился... В палате не было больше лавок, кроме той, на которой сидел митрополит. Это раздражало Ивана. Сесть на лавку рядом с Макарием не хотел: больно велика честь даже и для митрополита. Стоял, хмурился...

– Також и об ином... в кой уж раз с неотступством прошу, – подтверже сказал Макарий. – Митрополита Иоасафа, что пришел к нам от константинопольского патриарха... с добром и миром отпусти восвояси. Кой уж год держишь втуне его на Москве... како татя, за ключами. Патриарх грамоты досылает укорительные... Сам Иоасаф ежедневно листы ко мне пишет – просит снять с него вины напрасные и отпустить домой.

– Всем ведомо, пошто я держу преподобного гречина за ключами, – недовольно ответил Иван.

– Ведомо, истинно, да отступишь уж от того... Не винен Иоасаф... Не целовал он креста в Литве супротив тебя. Оговорил его подлый камячанин... Сам ведаешь, что оговорил, дабы доверие твое добыть да и творить свои подлые дела, на кои его в Литве снарядили. Раз уж ты вызнал те скровные поползновения камячанина да и в застенок его вкинул, стало быть, и Иоасафа тем оправдал. И вели отпустить его с Пиром домой. С патриархом негоже нам враждовать.

– Я б и его самого за ключи посадил... патриарха!.. Ежели б привел он к нам в землю нашу шиша⁹, как привел его Иоасаф. Нешто не в свите Иоасафа пришел к нам сей подлый монах, чтоб посеять измену в дому нашем? Станешь говорить, что не ведал преподобный, кого ему дьявол посылает в попугички? А как ведал?

– Не ведал, – твердо сказал Макарий.

– Так пусть ведает отныне... Пусть везде ведают, и в Литве, и в Константинополе, что мы в нашу землю шишей не дозволим водить. – Иван помолчал, сурово всхмуривая брови, покосился на Макария, пересиливая себя, сказал: – Ладно уж... ради твоих великих просьб, владыка, оставлю я вины преподобному гречину. А вот домой ему покуда дорога закрыта. Война!

– Немошен я... Бог призывает меня к себе, – тихо и скорбно проговорил Макарий, изнеженно опуская голову. – И не простит он мне, ежели не отвращу тя от пролития крови христианской. Бусурманская нечисть разоряет наши церкви, ругается над верой нашей... Замиришь с Литвой, обратись супротив бусурман – славой имя твое покроется вовеки.

– Уж не бояре ли тебя на такую мысль навели, владыка? – насупясь, спросил Иван и царственно скрестил на груди руки.

⁸ Сведомый – опытный, знающий.

⁹ Шиш – лазутчик, шпион.

– Сия мысль от Бога и во имя Бога, – твердо сказал Макарий, но глаз на Ивана не поднял. Руки его упирались в лавку: сидеть ему было так же томительно, как Ивану стоять. Клобук его сполз на ухо, лоб взмок...

Макарий тяжело вздохнул:

– Во имя Бога отвращая ты...

– Твоими мольбами простится мне, владыка.

– О душе твоей я молюсь денно и ночью...

– Бог услышит тебя, владыка, и споможет мне. Нет в том греха – отчизне силы придать! Море добуду – замирюсь с литвинами на веки веков и детям своим таков завет оставлю.

– Во все века и у всех народов государи мало внимали гласу Божьему. Несть во мне сил отворотить ты от войны... Призываю милостивым быть к побежденным.

Макарий снял с себя крест, Иван преклонил колено...

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа благословляю ты на дело ратное. – Макарий трижды осенил Ивана крестом. – Да будут с тобой успех и удача!

Иван поцеловал крест, повернулся к иконам, перекрестился и торопливо вышел.

4

Спустя неделю после Рождества Иван выехал в Можайск к войску, велел быть с собой брату своему Владимиру Старицкому с дружиной его, с боярами и воеводами старицкими.

В Москве на главенстве остался Мстиславский вместе с дворецким боярином Захарьиным-Юрьевым, царским родственником по первой жене. Осталась в Москве и царица Марья – беременная первенцем. Иван уверился окончательно, что Девлет-Гирей не придет к Москве, и не велел ей отъезжать в Вологду, куда по обычаю отправлял свою семью на время походов, дабы обезопасить ее на случай неожиданного нападения крымцев.

Остались в Москве и оба царевича – сыновья Ивана от первой жены Анастасии Захарьиной – Иван и Федор. Иван был уже смышленьшем – на девятом году... Учился грамоте у дьякона церкви Николы Гоступского – Ивана Федорова, скакал на лошади, рубил саблей – под стать отцу выдавался упрямым и дерзким. Федор был совсем мал, хил, тщедушен, пуглив; то и дело прятался от своих дядек и нянек по разным закуткам, отчего всегда по дворцу носилась переполошившаяся челядь, разыскивая пропавшего царевича.

Иван прибыл в Можайск по первопутку. Приближалось Крещение, и зима наконец набрала силу. Упали снега, заморозились реки, по окрепшим дорогам потянулись посошные¹⁰ обозы, доставлявшие войску корм, пушечное зелье, ядра, холсты, канаты, сбрую... Посошных людишек в нынешний поход было собрано множество: одних конных пять тысяч да пеших тысяч тридцать...

В Можайске Ивана ждал с главными полками Алексей Басманов. Щенятев и Шуйский ушли с нарядом в Великие Луки; с ними ушел казанский царь Симеон Касаевич да царевичи Бек Булат, Кайбула и Ибак – с татарскими и черкесскими полками.

По приезде Иван устроил смотр главным полкам. На можайском степище, в трех верстах от города, громадным кольцом стало войско: конные и пешие, стрельцы и пищальники, лучники и копейщики... Впереди – воеводы, стрелецкие головы, в доспехах, со знаменами.

Войско стояло торжественно и сурово. В морозном воздухе клубился пар от дыхания многих тысяч людей, всхрапывали кони, громко покрикивали стрелецкие сотники – сухими, резкими голосами, как бичами шелкали в воздух:

– Ободришь!

¹⁰ Посоха – подсобные при войске.

На востоке, в полверсте от того места, где стояло войско, громадился бор. Вдоль его опушки протянулись шатры, шалаши, наметы... Пылали бесчисленные костры, застилая небо густым дымом от сырых, прямо с корня, плохо горящих дров; в громадных котлах варились бараньи туши, еще больше их лежало рядом с котлами на постеленной на снег соломе – уже застывших и только освежеванных, парующих и отдающих приторью свежей крови. Вокруг вились своры голодных собак. Их отгоняли горящими головешками, обливали кипятком...

В бору тарабанили топоры – валили лес; бревна распиливали на чурбаки, чурбаки секли на поленья и на возах везли в город – к царскому дому, к боярским и воеводским домам, подвозили к кострам, к баням – неподалеку, на косогоре, стояла их целая дюжина, больших, черных изб, в которых зараз могло мыться по сотне человек.

В Можайске ударил набат, колыхнув над степищем смерзшийся воздух. Люди поснимали с голов шапки и замерли – немо и напряженно, только пошло из одного конца в другой легко, как вздох, оторопело-радостное:

– Царь!

Умолкли в лесу топоры, утихли пилы, замерли на месте возы и сани, а те, что были на дороге, съехали на обочину, в рыхлый, глубокий снег: лошади по брюхо, возницы по пояс – как истуканы, вбитые до половины в землю.

Торжественная тишина нависла над всем этим громадным, оцепеневшим скопищем людей.

С того места, где стояло войско, ударила пушка – оттуда раньше заметили царя, – и тут же впереди на дороге закружилась снежная замять. Два десятка всадников на рысях промчались по опустевшей дороге, разворотив копытами укатанный наст.

Донеслось протяжное «ура» – войско встречало царя.

Иван въехал через раствор – и тут же взвились знамена: в самом центре тяжело заколыхалось большое царское знамя с Нерукотворным Спасом, рядом с ним – удельное знамя князя Владимира Старицкого с Иисусом Навином, останавливающим солнце... Затрепетали казацкие бунчуки, поднятые на длинных пиках, воеводы обнажили мечи и сабли, громко заиграли трубы и сурны.

Иван медленно поехал вдоль строя. Позади него, придерживая разгоряченных коней, ехали воеводы. На первом месте – князь Владимир, в тяжелом шлеме с золоченым тульем и длинными, торчащими в стороны наушами, из-под которых свисала на плечи густая мелкоколетчатая бармица – подшеломная кольчужка, защищающая шею, – тяжелое зеркало¹¹ тоже отблескивало золотом... На князе был парчовый кафтан, подбитый куньим мехом, высокие сапоги красной кожи, обшитые по голенищу золотой витьею, в руке легкий золоченый шестопер с витой рукоятью. Тяжелый кованый щит, копье, меч и саадок везли оруженосцы, держа своих коней за крупом его вороного жеребца; за оруженосцами – вся княжеская свита, все на вороных, в богатых доспехах... После них – большие воеводы: Басманов, Серебряный, Горенский. Большие ехали конь в конь, стремя в стремя: никто из них не имел над другим прав, у всех в руках одинаковые серебряные шестоперы, но Басманов ехал на старшем месте – справа. Серебряный и Горенский, не сговариваясь, уступили ему это место по доброй воле, зная царское благоволение к нему. Горенский был рад и этому: ему еще не доводилось ходить в больших воеводах. При Воротынском, Курбском, Бельском ему бы не знать такой чести – в дворовых воеводах стоял бы... Нынче же – с серебряным шестопером, перед всем войском! Такой чести он ждал много лет, и радовался, и гордился втайне, хотя и знал, что в Великих Луках царь переберет места: в Великих Луках ждали Шуйский со Щенятевым, а те и по роду, и по заслугам не могли быть ниже его.

¹¹ Зерцало – нагрудный доспех, обычно выполненный очень искусно и служивший также украшением.

Серебряный чуял радость Горенского и думал с неприязнью: «Радуется княжич чужому месту... Бросили собаке кость!»

Басманов ехал угрюмый, погруженный в какие-то мысли. Серебряный изредка бросал на него быстрый взгляд, стараясь не выдать своего любопытства и беспокойства. А беспокойство у князя было... И не потому, что хмурился Басманов. Басманов и в добрые времена редко бывал благодушным: таков уж был этот человек – хитрый, затаенный, всегда себе на уме... Родовитостью он не значился – Басмановы и в думе редко сидели, – оттого и льнул он к царю, приспешничал, царской милостью стремясь возвыситься над другими. Серебряный всегда недолюбливал его, хотя открытой вражды между ними не было. Серебряный не нисходил до задирки с ним, Басманов же знал версту и держался всегда подобно месту. Слишком уж высок был Серебряный, чтоб Басманов, даже с помощью царя, стал искать места над ним. Воспротивься Серебряный, Басманов и нынче не шел бы на первом месте. Но Серебряный унял в себе родовую спесь и по доброй воле уступил Басманову это место. Знал он: не любил царь местничества в походах, особенно среди воевод. Стоило заместничаться воеводам, как и в полках начинался перебор мест: десятичники не хотели стоять под пятидесятичниками, пятидесятичники – под сотскими, сотские метили в стрелецких головах, а головы утягивали места у тысяцких. Был потому царский указ: в походе быть без мест. Кто бы под кем ни стоял, чести это ничьей не умаляло и в разрядную книгу не вносилось. Потому так легко и уступал Серебряный первое место Басманову: чести его это не вредило, зато забот убавляло. Быть воеводой Большого полка, когда с войском шел сам царь, – скверное дело!

Серебряный прибыл к войску только вчера – вместе с царем – и еще ни о чем не проведал, не разузнал, но по угрюмому виду Басманова догадывался, что в войске неурядицы. Басманов был при войске давно и непременно уже во все вник, все разглядел... Ума на это ему не занимать, и глаз у него острый.

Понимал Серебряный, что Басманов непременно обо всем расскажет царю. Тогда уж несдобровать никому. Помнил он тревожное предупреждение Мстиславского, и хоть не все понял из того, что спрятал за своими словами Мстиславский, но духом чуял: лучше не противиться царю, не растравлять его... Перемена в нем сталась такая, что ждать от него можно было всего – и головы сечь начал бы... Кому сечь – Басманов укажет!

Нельзя было допустить всего этого. Серебряный улучил момент и негромко сказал Басманову:

– Ладно стоит войско. Государь доволен.

Басманов не ответил, только сильней насупился.

Иван проехал конницу, проехал московские стрелецкие полки, проехал наряд – конь шел под ним легко, спокойно... Доспехов Иван не любил, был без шлема, без лат, в простой ферязи, стеганной на вате, в горлатном треухе, на руках боевые рукавицы, на поясе болталась короткая татарская сабля.

Подъехав к копейщикам, он взял у ближнего ратника копьё и с силой метнул его в землю. Копьё выбило в смерзшемся снегу глубокую лунку, но не вонзилось, упало...

– Худо точено, – сурово, но беззлобно сказал Иван.

– Немца продырит! – ловко ввернул хозяин копьё и блаженно улыбнулся царю.

Иван привстал на стременах, громко спросил:

– Какие будете?

– А мы всеиные, осударь! – ответил за всех копейщик. – Тверские, рязанские, володимерские!..

– Воеводы не кривдят вас? – склонившись с седла, потише спросил Иван и прищурился: смел был этот ратник, и Иван подумал, что выведает у него правду.

– Твоими заботами, осударь, ограждены от всех кривд!

Серебряный видел: довольным отъехал Иван от копейщиков, и снова сказал Басманову:

– Государь доволен!

– Доволен, покуда я молчу! – вдруг резко и угрожающе сказал Басманов.

– Пустое, воевода, – сказал как можно беспечней Серебряный. – Пожалуешься на новгородцев – псковичи обидятся... На псковичей – новгородцы... Что город – то норы! Тверские тоже молчать не станут... Крик учинится!

Басманов молчал, хмуρο кривил брови.

– Крику быть непременно... – Серебряный осторожно поглядывал на Басманова: только на ум его рассчитывал он, на то, что во всех его доводах Басманов сыщет хоть маленькую долю опасности для общего дела – для похода и откажется от своего намерения. – Пошто перед таким делом людей будоражить и государя гневить?

– Покрывать лиходеев? – глухо, неуступчиво сказал Басманов.

– Пошто покрывать? Самым вредным – правож учинить, с нерадивых сыскать.

– Како ж сыщешь со старицких воевод? – Басманов с недоброй усмешкой посмотрел на Серебряного и добавил: – Иль правож учинишь?

Серебряный тоже усмехнулся, но только для того, чтобы скрыть свою растерянность. Глубоко, выходяло, копнул Басманов, раз столкнулся и с воеводами Владимира Старицкого. Серебряный посмотрел на пышную княжескую свиту, на самого князя – по-царски торжественного и напыщенного, открыто бросающего вызов царю своим богатством и независимостью, посмотрел на царя – простолюдного и невзрачного в своей нецарской одежде, и подумал: «Не сносить головы и Старицкому, коли вырвется из его души все, что накопил он в ней!» Вслух же Басманову сказал другое:

– Князь сам учинит, коли их вину ему указать.

Басманов отмолчался.

Иван заканчивал объезд. Приспустились казачьи бунчуки, поутихли трубы и сурны, даже князь Старицкий приустал держать гордую осанку и как-то сник, огрузнул...

Басманов вдруг сказал Серебряному:

– Старицкие воеводы больше всех вреда чинят.

– Князь уймет их, – быстро проговорил Серебряный.

– Мне пусть выдаст, – жестко и твердо сказал Басманов.

– Сие не в обычаях князя, – холодно обронил Серебряный, но тут же добавил: – Ежели большую вину сыскать, буде, и выдаст.

– Вина большая, – по-прежнему жестко и твердо сказал Басманов.

– Кого? – спросил Серебряный и повернулся к Басманову.

– Пронского.

Серебряный от неожиданности чуть не выронил из рук шестопер. Все что угодно ждал он от Басманова, только не такого. Требовать выдачи Пронского – большого старицкого воеводы! Да если бы князь Владимир и выдал его, Пронский сам не отдался бы Басманову – уж больно велика верста была между ними. Пронский скорее на плаху пошел бы, чем на повиную к Басманову.

– Воевода, верно, шутит? – зло спросил Серебряный, подумав, что Басманов просто издевается над ним.

– Князь, – спокойно сказал Басманов, – ежели мы не уйдем Пронского и иных с ним, никакой крепости нам не взять, куда бы мы ни пошли – в Ливонию иль в Литву. Государь нам сего не оставит.

– Пронский – не стрелецкий голова!

– О стрелецком голове, князь, мы с тобой и не говорили бы! Шестерых голов стрелецких я уже ставил под плети, нынче поставлю еще...

– Пронского – тоже под плети? – еле сдерживая себя, спросил Серебряный.

– Опомнись, князь! Не имею таковой власти...

Серебряный поискал Пронского в свите князя Владимира – тот ехал подле оруженосцев, могучий, гордый, в тройчатой кольчуге, с копьём и щитом в руках, вороной конь под тяжелым чалдаром¹². . . Серебряный с восхищением смотрел на Пронского и думал: «Эвон как зубы на тебя изошрили, князь, царские приспешники! В псарях у тебя не ходили бы, а чести твоей ищут! Ну да ненадолго лягушке хвост!»

– Пусть приедет ко мне, – сказал Басманов, но как-то не очень твердо, с волнением, словно напугался своей дерзости. Серебряный почувствовал его волнение и понял, что он и сам мало верит в возможность затеваемого, но Серебряный знал решительность Басманова, знал, что он не остановится ни перед чем.

– Я уговорю Пронского приехать к тебе, – сказал он ему. – Только обещай не бесчестить его!

– Я не трону его чести, ежели она есть у него.

5

Из темного проема церковных врат валит пар, как из бани; карнизы и навесы над воротами покрыты белой индewью, отчего церковь кажется похожей на громадную берлогу.

Гул колоколов то стихает, то вновь зачинается – поначалу нечастым, глухлым брязкотом, потом быстрее и звонче, переполошенно и буйно накатывается, накатывается хлесткий перезвон, скапливается в воздухе, тяжелеет и вдруг бьет тяжелым, гулким ударом – в землю, в небо. . .

С куполов осыпается снег – летит комьями и густой белой пылью, нищие ловят его в ладони, припадают к нему лицом. . .

– Божий дар! Манна! – шепчут они изумленно и жадно и яростно отгоняют всякого, кто пытается тоже поймать хоть горсть. Слизиывают с ладоней снежную пыль, блаженно закатывают глаза и суетятся, суетятся. . .

– И нагой не без праздника! – шепчут они с заумью. – Царько наш милосердный нынче пожалует убогих!

Еще задолго до окончания службы стали они собираться небольшими, враждующими меж собой кучками возле церкви Святого Георгия Победоносца, где стоял обедню царь. Потянулся к церкви и народ – с крестами, хоругвями, иконами. . . Притащились юродивые. Они сразу стеснили нищих с паперти: стали ползать по обледелым ступеням, сдирать ногтями комки, счищать мусор, грязь. . . Один из них, с двумя тяжелыми железными крестами на груди, уселся в сугроб и спокойно плакал, не обращая внимания на своих орущих, хохочущих, ползающих по паперти собратьев.

– Юродивый не заплачет – не жди удачи, – говорили в толпе и кланялись ему.

На площади возле церкви скапливалось все больше и больше народу. Самые проворные забрались на крышу стоящей неподалеку ямской избы, обсели длинный покатый настил конюшни, пристроенной рядом с избой, – кто-то подал туда хоругви, кресты. . . Один крест пристроили на трубе ямской избы. Его обдавало дымом, и люди заволновались, нищие замахали клюками. . .

– Кошунство! Кошунство! – зашумела толпа.

Но крест не сняли: дым стал идти слабей, а вскоре и совсем прекратился – в избе потушили печь.

Вдруг крыша над конюшней с глухим треском проломилаась, и все, кто сидел на ней, провалились вниз. Дико заржали напуганные лошади, завопили искалеченные, барахтающиеся под обломками и копытами обезумевших лошадей люди.

¹² Чалдар – доспех, защищающий грудь коня.

Толпа на площади с ужасом охнула и откачнулась от конюшни. Кто-то кинулся – отворил ворота... Несколько лошадей вырвалось на волю, и они понеслись прямо в толпу. Полетели на землю хоругви, иконы... Толпа в ужасе качнулась в сторону, смяла нерасторопных и упавших, хлестнулась о стены домов, заглушив паническим вздохом глухой зойк¹³ раздавленных, и вдруг замерла, остановленная чьим-то ликующим воплем:

– Царь!

Иван стоял на паперти в окружении воевод и угрюмо смотрел на оторопевших, словно бы захваченных врасплох на какой-то шкоде людей.

Беззвучно, понуро стояли люди, еще не освободившиеся от наполнявшего их ужаса, но уже охваченные другим, не менее гнетущим чувством – чувством вины перед тем, ради которого они пришли сюда.

Валялись на снегу затоптанные хоругви, разбитые иконы, билась в сугробе с поломанными ногами лошадь, из конюшни доносился негромкий, но хорошо слышимый в наступившей тишине зов: «Спасите! Спасите!»

Ни один человек не кинулся на помощь к взывающим, никто не пошевелился даже: люди или не слышали, или боялись теперь уже хотя бы малейшим движением отягчить свою вину. Они словно пристыли к земле, беспомощные и кроткие, всем своим видом, своей жалкостью, кротостью показывавшие свою покорность, свое смирение и этой покорностью, этим смирением старавшиеся заменить все те почести, которые они собирались оказать ему – так угрюмо и недружелюбно взирающему на них с высоты паперти.

Даже юродивые угомонились и сникло сидели на ступенях с раскрытыми ртами и выпученными глазами.

Иван вдруг спустился по ступеням к одному из них, присел на корточки, строго спросил:

– Скажи: будет мне удача?

Юродивый сжался, заскулил, как от щекотки, по синюшным губам потекли слюни.

– Скажи, – настойчиво потребовал Иван. – Будет мне удача?

– Дай гривну, – сказал плаксиво юродивый.

– Богатым станешь...

– Дай! – громко и грубо потребовал юродивый и толкнул Ивана в плечо.

Иван не рассердился, только отсел чуть подальше. Снял с пальца перстень, протянул его юродивому.

– Вот – вместо гривны...

Юродивый схватил перстень, зажал его в ладони, даже не взглянув на него, и долго сидел без движения, прижав к животу руку с перстнем.

Иван терпеливо ждал. Юродивый снова заскулил, затряс головой, разжал ладонь и выбросил перстень в снег.

– Дай гривну!

Нищие кинулись к перстню, учинили драку. Васька Грязной проворно сбежал с паперти, плетью, как собак, разогнал их. Нищие беззвучно расползлись в разные стороны – кто-то из них уполз вместе с перстнем.

– Васька! – нетерпеливо приказал Иван. – Сыщи гривну.

Васька Грязной крикнул в толпу:

– Эй, люди, кто одолжит царю гривну?

Из толпы вышел человек, расстегнул шубу, вынул из-под широкого пояса серебряную гривну, протянул Ваське.

– Кто будешь? – спросил Васька.

– Евлогий, купец.

¹³ Зойк – стон, вскрик.

– Год будешь беспощинно торговать в сем городе, – сказал ему Васька и отнес гривну царю.

– Вот тебе гривна, – подал Иван юродивому серебро. – Скажи теперь: будет мне удача?

– Гы-гы!.. – засмеялся юродивый беззубым ртом, погладил гривну ладонью и спрятал ее куда-то в свои лохмотья.

– Скажи, – настойчиво допытывался Иван, – будет мне удача?

– Носи крест и вериги, – сказал юродивый.

Иван резко выпрямился, долгим, тяжелым взглядом посмотрел на юродивого, словно испытывал его, но юродивый уже отвернулся от Ивана, забыл о нем. Иван поднялся на паперть, подоспел к священнику, скромно стоявшему позади всех, решительно снял с него крест и повесил на себя.

– Коня, – сказал он глухо.

6

Иван жил в простой деревянной избе, выстроенной на окраине Можайска еще прошлой весной, перед Ливонским походом. Жил скупко, строго... При нем были только Федька Басманов с Васькой Грязным да несколько слуг.

Изба была разделена на три части: в одной, самой маленькой, была царская спальня и молельня – Иван не любил по утрам ходить в церковь и молился в своей молельне; в другой жили Федька и Васька; третья, большая и просторная палата, служила трапезной, здесь же Иван выслушивал челобитчиков, сюда созывал на совет воевод.

Нынешний день утомил Ивана: долгий смотр войска, долгая обедня, которую он почти всю отстоял на коленях, да еще то странное, почти бессмысленное прорицание юродивого, в котором Ивану почудилось какое-то жуткое злое известие... До него словно донесся далекий и суровый глас судьбы. Вспомнил он свой разговор с митрополитом, вспомнил его слова: «Добро в твоей душе да восстанет надо злом...» Добро! Не к нему ли тянется его душа – вопрекор разуму, вопрекор воле, вопрекор всему тому, мрачному и злему, чем наполнена его жизнь?

Сник Иван, призадумался... Приказал Федьке сказать воеводам, что говорить сегодня с ними не будет, а наутро чтоб готовились выступать. Всегда вгонявший коня в пену, теперь до самой своей избы ехал шагом. Обедал один, даже не позвал Федьку, обычно рассказывавшего ему за обедом сказки, притчи да разные небылицы.

Сумрачный, отяжелевший сидел Иван за столом... Мысли его ушли к тому времени, когда совсем еще юным, семнадцати лет от роду, венчался он на царство в Успенском соборе. Навсегда остался в его памяти этот день. До сих пор помнит он, как величественно – до жути! – пели певчие венчальную херувимскую песню, как надрывно стонали от их голосов гулкие своды собора, как пугающе дрожало тяжелое, слепящее марево свечей, как бесновались кадильницы вокруг него, как задыхался от их дыма... Помнит лица бояр, непроницаемые, холодные лица, помнит пронзительные, неотвязчивые глаза тетки своей Ефросиньи Старицкой, помнит боярынь ее – пустоглазых, как совы, в золоченых кокошниках, подносивших ему царскую цепь...

Тогда он еще был им по зубам, и знай они, что он не только обвенчается, но и станет царствовать, непременно извели бы его. Извели бы! В этом он уверился окончательно и накрепко в пору своей тяжкой хворобы, когда, ожидая смерти, призвал их присягать своему сыну и наследнику – царевичу Димитрию¹⁴. Вот когда он увидел их истинные лица и узнал истинную цену их преданности ему. Князь Владимир Старицкий не замедлил объявить свои права на престол – мимо Димитрия, и бояре встали за него. Крест целовать Димитрию воспротивились,

¹⁴ Димитрий – первый сын Ивана IV, умерший во младенчестве.

засварились, выгоды себе выговаривая перед новым царем, которого уже видели на престоле, а ему, Ивану, еще живому, говорили прямо в глаза: «Нельзя нам крест целовать не перед государем. Перед кем нам целовать, коли государя тут нет?» Лишь увидев, что смерть отступила от него, и подошли к кресту. Князь Владимир в отчаянье поцеловал крест, а мать его, Ефросинья Старицкая, только с третьего присыла привесила к крестоцеловальной грамоте свои печати.

«Добро в твоей душе да восстанет надо злом...» – снова вспомнились ему слова Макария. – А пощадят ли меня, доброго, мои недобрые враги? Не пощадят! Пошто же мне уповать на Божий суд? Мне мало на них лише Божьего суда! Я сам хочу судить их! Сам! И я буду судить... Буду!»

Злоба, вскипевшая в нем, постепенно отступила – он мысленно выместил ее, – но легче не стало. Давило одиночество.

– Федька! Васька! – позвал он.

Федька и Васька мигом, будто стояли под дверью, появились в трапезной.

– Вина! – приказал Иван. Федьку задержал: – Садись, Басман, сказку будешь сказывать мне.

Васька Грязной принес кувшин вина, поставил его на стол перед Иваном, подал ему чашу из носорожьего рога, которую когда-то прислал в подарок его отцу крымский хан. Иван чаще всего пил из этой чаши, даже на пирах: рог носорога, по древнему поверью, охранял от яда. Отравленное питье должно было сразу почернеть в этой чаше.

Васька наполнил чашу, протянул ее Ивану.

– Ну, Басман, пошто молчишь? Сказывай сказку.

– Какую велишь – грустную иль веселую?

– Какую выдумал!

Иван отпил из чаши, ожидающе посмотрел на Федьку. Тот вымученно осклабился, сделал вид, что собирается с духом, но глаза его помимо воли тянулись к кувшину.

– Буде, хочешь пображничать?

– Ежели милость окажешь, пригублю за твое здравие.

– Ох, шельма! – усмехнулся Иван. Душа его стала отходить. – Тащи, Васька, ковши!

Грязной проворно притащил ковши, наполнил их. Федька подобострастно сказал, поднимая ковш:

– Здравие твое, цесарь!

– Здравие твое! – повторил Васька.

– За смерть врагов моих выпейте, – спокойно сказал Иван. – И за свою, ежели тоже врагами станете!

Васька беспечно улыбнулся, единым духом заглотил весь ковш. Федька побледнел, руки его дрогнули – вино пролилось на пол.

– Невесел ты что-то, Басман, – с издевкой, полной недоброй двусмысленности, сказал Иван.

– Невесел я оттого, что ты печален, цесарь.

Иван долгим, испытывающим взглядом посмотрел на него. Федька снова побледнел, но выдержал взгляд Ивана и твердо сказал:

– Пусть сгинут твои враги, цесарь!

– А теперь сказывай свою сказку, – приказал Иван.

– Жил-был на земле один мудрый и добрый царь, – начал Федька.

– Не стой, сядь, – сказал ему Иван. – И не подслащай... Добрых царей нет.

– А сей был добрый, – сдерзил Федька, ушел в угол и сел там на лавку.

– Сядь ближе, – раздосадовался Иван.

– Глупый место ищет, а разумного и в углу видно, – скороговоркой проговорил Федька, но пересел поближе. – Великое государство было у сего царя и премного всяческого богатства.

Было у него також много разных слуг, и прислужников, и вельмож... Как у тебя! Все они пред ним пресмыкались и верность свою показывали, а за глаза думали про него недоброе и всяческое зло умышляли... Завидовали его мудрости и богатству. Был среди них один, который не пресмыкался пред ним, подобно остальным, не падал ниц, а токмо опускал глаза и учтиво кланялся. Царь был мудр и разумел – кто верен ему, а кто лише показывает верность. Приблизил он к себе того человека, сделал его самым первым своим слугой, ибо уверился, что тот николиже не изменит ему. Но завистники и царские недруги, которым тот человек поперек стал, учили всячески чернить его пред царем, измышлять на него пущие изменные дела... Хотели, чтоб царь прогнал его и снова остался без верного человека. Царь наветам не верил, ибо был мудр, как и ты, цесарь, но и в его душу закралось сомнение. Намерился он испытать своего слугу и измыслил для сего некую хитрость... Призвал он однажды его к себе и речет ему наедине: «Проведал я, что враги мои хотят меня убить!» Слуга спрашивает: «Коли они задумали сие сделать, и которым обычаем?» – «Про то я не ведаю, – речет ему царь, – ведаю токмо, что нападут они на меня среди ночи, в опочивальне. Потому я не буду отныне спать в своей опочивальне, но в одной тайной комнате. Опричь нас с тобой об той комнате никто ведать не должен. Вот тебе ключ, дабы ты при нужде мог зайти ко мне». Отдал ему царь ключ, а мысль у него была такая: ежели слуга не верен ему, ежели он враг его, то, соединившись с другими, непременно захочет помочь им убить его. Для того царь устроил ловушку. Спал он совсем не в той комнате, в которой сказал, а в той, в которой сказал, было сделано его подобие из воска и тряпок и положено на ложе, а в потаенных местах стража поставлена. Царь думал, что ежели тот слуга придет с иными недругами убивать его, то впотьмах не разберет – царь на ложе или токмо подобие, и поразит его ножом или мечом, а тут их всех стража и схватит.

Три ночи ждал так царь. Ждал и четвертую... И вот в четвертую-то ночь вдруг учинился во дворце великий сполошный шум. Царь посылает одного стражника проведать... Тот воротился и доносит царю, что по всему дворцу радостные вопли: «Царя убили! Царя убили!» Царь взял с собой стражу и поспешил в свою спальню. Тут и застал всех своих врагов, которые радостно потрясали мечами, а узревши живого царя, так и обмерли. Царь увидел на своем ложе окровавленный труп, облаченный в его царскую одежду, и заглянул ему в лицо и узнал своего слугу. Тут царь все понял и казнил всех своих врагов.

– К чему ты сие рассказал? – допытливо и хмуро спросил Иван после долгого молчания.

– К тому, что другое уж все высказал.

– А се пошто таил?

– Не таил...

– Пошто же ранее не рассказал?

– Ты ранее меня врагом своим не обзывал, – язвительно ответил Федька.

– Зело обидчив ты, Басман. Кто обидчив, тот изменчив! – тяжело проговорил Иван и перевел взгляд на Грязного. Тот стоял перед ним восторженный и уже хмельной, в блудливых цыганских глазах его светилась детская, глуповатая радость, и весь он был как ребенок, которому только что дали пряник или посулили забаву.

Ивана потешил глупый Васькин вид.

– Гляди ж ты!.. А говорят, в пустую башку и хмель не лезет!

– В пустую он токмо и лезет, – умильно пробормотал Васька.

– Ну а скажи мне, Васюшка, понравилась тебе сказка?

– Мудрена больно! Мало я уразумел в ней чего...

– Слышишь, Федька?! – засмеялся Иван. – Се тебе награда за твою сказку. А чтоб больше глупых сказок не говорил, я тебя другой обучу. Будешь ее моим боярам сказывать, коли они в добром веселье будут.

Иван вынес из спальни свиток и подал его Федьке:

– Чти!

Федька взял свиток, осторожно, даже со страхом развернул его, так же осторожно, запинаясь, стал читать неряшливую скоропись:

– Турецкий царь Махмет-салтан сам был философ мудрый по своим книгам, по турецким, а когда греческие книги прочел и слово в слово по-турецки переписал, то великой мудрости прибыло у царя. И рек он сеидам своим, и пашам, и муллам, и обызам: «Пишется великая мудрость о благоверном царе Константине в философских книгах...»

Федька облизал высохшие от волнения губы, стрельнул глазами в Ивана:

– Он от отца своего на царстве своем остался млад, трех лет от роду своего, – торопливо продолжил он, – и греки злоимством своим богатели от слез и от крови рода человеческого, и праведный суд порушали, да неповинно осуждали за мзду. Вельможи царевы до возраста царева богатели от нечистого своего собрания. Стал царь в возрасте и почал трезвиться от юности своей, почал приходить к великой мудрости воинской и к прирождению своему царскому...

Федька перевел дух, снова стрельнул в Ивана глазами, но уже посмелей и даже как бы понимающе.

– Подай ему вина, – приказал Иван Грязному.

Федька не осилил полного ковша, махнул остатки на пол, еще старательней забубнил:

– И вельможи его, видя, что царь приходит к великой мудрости, рекли так: «Будет нам от него суетное житье, а богатство наше будет с иными веселиться».

– Ишь, перепужались, окаянные! – сказал блаженно Грязной.

Федька запнулся, хмуро посмотрел на него.

– Видать, почуяли под задом жаровню, – добавил со смехом Грязной.

– Нравится тебе моя сказка, Василий?

– Как про тебя писано, государь, – сказал простодушно Грязной и доверчиво улыбнулся Ивану.

– Тыщу раз перечти, Басман, сказку сию, – сказал Иван. – Знай ее, как молитву! Коли б я тебе ни наказал, по памяти повторить должен слово в слово!

7

Серебряный дождался сумерек и поехал на подворье князя Владимира Старицкого.

На подъезде к княжеской избе Серебряного встретили верховые казаки, учтиво попросили остановиться.

– К князю Володимеру – воевода князь Серебряный! – с достоинством сказал Серебряный и подал одному из казаков свой шестопер. Казак принял шестопер и, держа его в вытянутой руке, как факел, поскакал вперед, чтоб известить князя.

У крыльца тот же казак с поклоном возвратил Серебряному шестопер и почтительно сказал:

– Князь милости просит!

Такой прием понравился Серебряному, а то, что князь Владимир не заставил ждать и сразу позвал его, даже польстило ему: не всякий достаивался такой чести у удельного князя.

В сенях Серебряного встретили княжеские воеводы, а сам князь встречал у дверей. Поприветствовал, справился о здоровье, просил садиться где удобно.

Серебряный сел, оглядел палату. Палата была богатая. Серебряный даже подивился, что князь и в походе живет в роскоши. Кругом – ковры: на полу, по стенам; на лавках – парчовые полавочки... В святом углу – широкий резной киот, отделанный серебром, жемчугом и костью, в нем – иконы, блестящие золотыми окладами; на стенах – дорогое оружие; вдоль стен – большие сундуки из черного дуба, окованные чеканным серебром, на сундуках – мас-

сивные серебряные шандалы с ярко горящими свечами; на столе – золоченые кубки и кувшины с вином.

В палате народу было немного: несколько воевод из свиты князя, его оружничий, два боярина, парившиеся в рысех шубах возле печи, княжеский духовник Патрикий и князь Пронский. Присутствие в палате Пронского больше всего смутило Серебряного. Он даже растерялся поначалу, не зная, как и приступить к делу, когда сам Пронский, причастный ко всему, будет сидеть и слушать, что о нем будет говориться.

– По царскому приказу иль по своей воле явился ты к нам, воевода? – спросил князь Владимир, видя замешательство Серебряного, хотя и не должен был начинать разговор первым.

Серебряный в душе перекрестился на князя – за то, что тот пришел к нему на помощь, пренебрегши обычаем, и, разом успокоившись, ответил:

– Царь не приказывал мне, да коли мы станем ждать его приказов – худо нам будет!

Князь Владимир, да и все, кто был в палате, почуяли тонкое двусмыслие в ответе Серебряного: замерли четки в руках Патрикия, сопнул недружелюбно Пронский...

– За самовольство також не милуют, – сказал князь Владимир.

– Самовольство самовольству рознь! – возразил Серебряный. – Ежели один самовольно порядку и ладу в деле добивается, а другой сие дело самовольно расстраивает – кому добром, кому худом воздать?

– За правое дело како не воздается – все лише добро будет, – тихо, мягко и словно бы самому себе сказал Патрикий.

Все с согласием посмотрели на него, будто он и вправду высказал за каждого их мысль. Да только знал Серебряный, что никто ничего подобного не думал. Каждый из них побегал бы от худого воздаяния, за какое бы дело оно ни воздавалось – за правое иль неправое... Он хотел было возразить Патрикию, да раздумал: не мудрствовать пришел он сюда.

– Во всяком деле ум нужен, – сказал он решительно. – Даже в правом!.. И мера. А что затеяли бояре и воеводы – неумно и неумеренно. Князь Пронский давно при полках и знает, какие невзгоды терпит войско через ту неумность и неумеренность.

Пронский опять сопнул, нахмурился, но не сказал ни слова.

– Нынче большой воевода говорил мне, что покрывает пред государем воеводские козни, дабы раздором пуцего вреда не причинить, – продолжал Серебряный, прямо и смело глядя на князя Владимира, чтобы видеть, какие из его слов сильней всего затронут князя. – Первому воеводе твоей дружины, князь, надлежит сейчас ехать со мной к Басманову и говорить с ним по сему делу.

– Пошто моему воеводе? – капризно воскликнул Владимир.

«Знаешь – пошто! – подумал Серебряный, глядя в метушливые глаза князя, и порадовался, что верно поставил себя в разговоре с ним и оттого ведет дело в свою пользу. – Кабы не знал – выпер бы меня вон и слова бы не разменял со мной!»

– Оттого, князь, что твои люди больше всего козней творят!

– За такие слова, воевода, – в плети тебя! – вскинулся Владимир и крикнул слугам: – Взять его!

Слуги кинулись к Серебряному, скрутили по рукам.

– Опомнись, князь, – спокойно сказал Серебряный. – Твои плети подымут меня над тобой, коли Басманов пойдет к царю с доносом.

Владимир, по-бычьи наклонив голову, с ненавистью смотрел на Серебряного.

– Пристало ли нам, князь, меж собой свариться, коли надо всеми нами занесен топор?! – с укором и уже совсем иным тоном, мягким и дружеским, сказал Серебряный. – Согласно стада и волк не берет. А еще речется и так: собором и черта поборем.

– Отпустите его, – сказал Владимир и пристально взгляделся в Серебряного. – Дивный ты человек, воевода... А буде, просто лукав?

– Лукавство делу не помеха.

Владимир подступил к Серебряному:

– Речешь: собором и черта поборем? – Он осторожно, даже трусливо приблизил свое лицо к лицу Серебряного и ехидно спросил: – А буде, сам черт и наусткивает тебя, а?

– Полно, князь, – невозмутимо сказал Серебряный. – Мы не торговцы из Китай-города! Пошто нам торговать один у одного доверие? Скажи мне: едет со мной Пронский иль нет? И делу – конец!

– Обычая не знаешь, воевода? Своих людей я сам сужу!

– Обычай я знаю, князь, да уж давно у нас на Руси не по обычаю все ведется. Не на суд едет Пронский! Судить его можешь токмо ты или царь. Басманов с ним говорить будет.

– Басманов мне в осьмое колено... Кабы не в десятое! – глухо и зло бросил молчавший досель Пронский. – Отопком щи хлебал, да в воеводы попал твой Басманов!

– Слышал, воевода?! Невместно Пронскому ехать к Басманову. Пусть сам Басманов едет к нему.

– В походе мы все без мест, князь. Да и не поедет сюда Басманов. Он поедет к царю.

* * *

Серебряный и Пронский ехали молча, отчужденно... Серебряный, ехавший на полконя впереди, не видел Пронского, но знал и так, какую великую тяжесть везет в душе воевода.

Пронский поехал сам, по своей воле, без княжеского принуждения. Да Владимир и не мог его принудить. Не было у князя такой власти над ним. Это Серебряный понял еще в разговоре, когда окончательно стал требовать ответа – едет с ним Пронский или нет? Владимир тогда совсем потерялся. Всю спесь с него как рукой сняло. Только что угрожавший Серебряному плетями, он вдруг стал просить его отговорить Басманова, рассудился подарками...

«Нетверд князь, нетверд», – думал разочарованно Серебряный. Он впервые так серьезно столкнулся с Владимиром и неожиданно для себя самого разглядел под его напускной могущественностью и капризной гордыней слабую и нестойкую душу. Невеселые думы прихлынули к Серебряному. Человек, с которым он связывал свои самые тайные и самые дерзкие надежды, оказался совсем не таким, каким он его представлял, и уж совсем не годящимся для той роли, которую отводили ему бояре в своей борьбе против царя.

Велико было разочарование Серебряного. Много, ранее прочно утвержденное в его сознании, вдруг поколебалось, и он почувствовал себя так, будто его жестоко и коварно предали. Сам не зная для чего и почему, он придержал коня и с досадой сказал Пронскому:

– Нетверд князь наш...

– Зато имя его твердо! – вызывающе ответил Пронский.

– Имя? – равнодушно переспросил Серебряный.

– Да, воевода! – еще с большим вызовом сказал Пронский. – Не забывай, он внук покойного великого князя Иоанна Васильевича, а отец его – Андрей Старицкий... Андрей Иоаннович! – имел такое же право на московский престол, как и отец нашего нынешнего государя. Ежели не большее!

Серебряный почувствовал, как все-таки ненавидит его сейчас Пронский, так ненавидит, что даже не скрывает от него своих самых крамольных мыслей. Он чувствовал, что Пронский торжествует в душе, показывая ему свое бесстрашие, и этим бесстрашием унижает его, Серебряного, лицемерно, по его мысли, служащего царю. В другое время это взбесило бы Серебряного, но теперь он отнесся к этому спокойно.

Весь оставшийся путь они снова молчали и не смотрели друг на друга, хотя и ехали теперь конь в конь.

8

Басманов встретил Пронского более чем холодно. Серебряный сразу почувствовал, что разговор будет тяжелым. Почувствовал это и Пронский. Он важно сел на лавку, жестко, в упор стал смотреть на Басманова.

Долго, затаенно и выжидательно длилось молчание. Пронский и Басманов, как два стравленных пса, обнюхивались и присматривались – один, чтоб покрепче ухватить, другой, чтоб половче увернуться... Наконец Басманов, поняв, что Пронский хоть и покорился, и приехал, но первым все равно не заговорит, прервал молчание.

– Обещался я князю Петру не трогать твоей чести, воевода, – сказал он Пронскому, но это прозвучало не как уступка, а как угроза.

– Моей чести сам Господь Бог не затронет, – глухо обронил Пронский.

– Богу и ни к чему твоя честь, воевода. Пред Богом мы все лише душами закланы. В судный час призовет он всех нас не на пир, а к ответу за все дела наши земные.

– Рясу бы тебе носить, Басманов! – съязвил Пронский.

– О деле паче говорили бы, воеводы, – вмешался Серебряный.

– Коли есть оно, дело?! – опять съязвил Пронский. – Гляжу я, воеводе вельми нравится местом своим тешиться! Токмо к месту еще и честь потребна. А честь не утяжкой обретают. Не утянуть тебе нашей чести, Басманов: не под тобой мы, мы – под царем!

– Под царем – верно! – Басманов остался невозмутим. Он, должно быть, готов был и к худшему. – А хотели бы быть над ним! Посему и пакостите, и сычите, как змеи, яд свой изрыгая. Токмо своим же ядом и захлебнетесь. Кончилось ваше время! Отныне служба и раденье на первых местах, а не богатые кафтаны.

– Пошто же сам в богатый кафтан вырядился? Сермяжную худь прикрываешь?!

Басманов пропустил мимо ушей и эту издевку Пронского. Он снял с крюка железное кольцо, подошел к Пронскому, показал ему кольцо:

– Вот твоя честь! Сие кружало¹⁵ ты послал ржевским кузнецам, чтобы они по нем ядра ковали. Они наковали триста дюжин, а ядра-то в пушки не лезут! Буде, ты новых пушек наделал? Так яви их! А буде, сие кружало не ты слал? Так вот клеймо старицкое!

– В нарядных делах у нас немчина голова. Он слал кружало.

– Допытывал я вашего немчина. Ты велел выковать кружало мера в меру устью пушечному, а исстари куют с убавкою. Ужли не знал ты сего, воевода?

– Не тебе допытывать меня! – надменно проговорил Пронский. – Ежели винен – пред царем отвечу!

– Царь не станет уж допытываться! Все ваши изворотки ему ведомы доподлинно. Оплели все своими паучьими кроснами... Порвет он их, порвет! А мы ему споможем!

– Кто ж такие – мы?

– Которые не о чести своей пекутся, а об отечестве... Много бед испытало оно через вас.

– Красно баешь, Басманов! Будто перед царем место выговариваешь! А того не разумеешь, что тем, кому не дорога честь, не дорого и отечество.

– Воеводы! – опять вмешался Серебряный. – Стыдно глядеть на вас!

– А ты не глядел бы!.. – огрызнулся Пронский. – Уйди!

– Ушел бы, – сказал примирительно Серебряный, – да погрызетесь... А дела не стоворите. Вот ты винишь Пронского в злых умыслах, на всех бояр царской опалой нахваляешься, – обратился он к Басманову, – а разве бояре царю враги? Ну, разошелся царь с боярами, так замирится! Как ты тогда в глаза всем нам смотреть станешь?

¹⁵ Кружало – кольцо, соответствующее размеру пушечного жерла. Этим кольцом промеряли ядра.

Дрогнуло что-то в Басманове, опустил он глаза... Серебряный понял, что попал в самое уязвимое место.

– Ежели не по злему умыслу отослал он сие кружало, так пусть докажет! – более обращаясь к Серебряному, чем к Пронскому, сказал Басманов.

– То ж как я докажу? – растерянно и удивленно воскликнул неожиданно присмиривший Пронский и зачем-то поозирался по сторонам.

– Кони старицкие кованы худыми гвоздями: от пяти верст подковы отваливаются.

– Не я их кую, гвозди те! – опять удивился Пронский. – Да и под каждое копыто не заглянешь!

– Гвозди кованы из крушного железа¹⁶, – сурово бросил Басманов. – Старицких воевод допытать хотел – они мне не повинились! Твое на то слово было: не виниться большим воеводам без княжеского указу.

– Так исстари у нас ведется, – засмеялся Пронский. – Мы – удельные!

– В порохе ямчуги¹⁷ недостает – тоже исстари ведется?

– Пороху надобно много, а с Белоозера ямчугу неспешно везут... Оружничий и сообразил на меру по горсти убавить.

– Пошто же тверские и новгородские добрый порох доставили?

– Так на Старицу более всего по росписи идет: и ядер, и пороху...

– А кружало сие ты, однако, намеренно послал, – вдруг осек Пронского Басманов.

– Буде, ты меня еще на правеж поставишь? – снова вскипел Пронский.

– Вот и докажи!.. По совести сделай, чтоб себя обелить. – Басманов помедлил, словно бы испытывая Пронского: возмутится тот на обвинение или смолчит, примет его... Пронский смолчал. Ободренный этим, Басманов твердо договорил: – Своей казной перекуй все ядра.

– Своей казной?! – ужаснулся Пронский. – Ты в своем ли уме? Где я возьму таковую казну? Не сам же я рублю рубли?

– Коли вас не пресекать, так и царю их не из чего станет рубить!

– Ядра непременно надобно перековать! – сказал Серебряный. – Триста дюжин – великий счет!

– Нет у меня таковой казны, – упорствовал Пронский.

– Не хочешь по совести и по добру – будет по злу. Я не властен над тобой, воевода, ты можешь ехать прочь... Токмо ведай: быть тебе в ответе. За всех!

Пронский решительно встал с лавки, в глазах у него заметались свирепые огоньки. Басманов тоже поднялся...

Серебряный почувствовал, что сейчас может произойти самое страшное: они вконец рассорятся, и Басманов, несмотря на все свои сомнения и колебания, все же пойдет к царю с доносом. Покрывать Пронского он просто не мог: царь все равно доведется бы про негодные ядра, и уж тогда за покрывательство Басманова самого ждала Бог весть какая участь.

– Перекуй, воевода, ядра, – стал наступать на Пронского уже и он. – Перекуй! Своей головы не щадишь – чужие пожалей!

Пронский помолчал, пораздумывал, а может, просто подразнил своим молчанием и Серебряного, и Басманова, которые были ему сейчас одинаково ненавистны, и бросил презрительно:

– Перекую!

¹⁶ Крушное железо – перегар, хрупкое, не годное в дело.

¹⁷ Ямчуга – селитра.

9

У Махони Козыря, заплечных дел мастера, днем работы не было. Работа его начиналась вечером, когда изо всех полков шли к нему под розги и плети провинившиеся за день воинники и посошники.

За неимением потребного места Махоня справлял свое дело в бане. Тут же он коротал и дневное время, сидя в предбаннике и ожидая, когда кто-нибудь позовет похлестать веником спину. Платы за это он не брал, но просьбу исполнял старательно. Так же старательно он исполнял и свою основную работу.

По всей Руси знали Махоню: он сек и новгородских, и тверских, и рязанских, сек в Казанском походе, сек в Астраханском, сек в Ливонском, теперь сечет в Литовском.

Махоня был добр, покладист, но на руку тяжел. Больше двух дюжин пястей от него никто не выдерживал. Сек Махоня простонародье: носошников, ратников, десятских, случалось, и сотских, но до дворянской или боярской породы его не допускали. Тех больше брали мытарством... Мытарить же Махоня не умел. Махоня сек, да так, что даже дубленые мужичьи спины лопались под его плетью, а попадись ему на лавку боярский сын или дворянчик – не ужить бы ему и до дюжины...

Саженистый в плечах, увалистый, как боров, Махоня был невысок ростом, но с длинными, почти до колен, руками, безбородый, с маленьким лицом и маленькими глазками... Татарская примесь выдавалась в нем явно... Подсмеивались над ним насмешники:

– Ты, Махонь, ни в козла, ни в барана, ни в черного врана!

– Дык... сам я себя вытворял, что ль?! – беззлобно говорил Махоня и всегда одинаково. – Бог меня вытворял!

По целым дням сидит он в предбаннике, размачивая в кадке розги и гутаря с баяющимися. Всех он привечает, ко всем с лаской, будто все ему приятели или родичи, и квасу подаст, и кафтан подсобит надеть, а только никого он в лицо даже не знает. Зато все знают его. А которые не знают, впервой видят – все равно с ним как приятели.

– Махонь! – позовет кто-нибудь из парной.

– Эге! – отзовется Махоня и насторожит ухо.

– Похлещи-кось, Махонь!..

– Похлещу, – спокойно отмолвит Махоня, не спеша встанет с лавки, выберет по руке веник, пойдет распаривать в котле. Отхлестав, вернется в предбанник – взмокший, рдяной от пара, с тяжелой одышкой, выпьет жбан квасу, снова усядется на лавку и непременно начнет поучать: – Поперек хребта не ходь веником: жги не будя! Погуляй перво промеж лопат да по хребту – жга и проймет, ажио до самых ребер!

– От твоих плеток жга небось до самых кишок пронимает?

– Се кому как! Кой по-зряшному страдет, тому лихо! Кой по заслуге – тому как с женкой на палатах!

Так и сечет Махоня спины: днем – веником, вечером – плетями и розгами.

Вечером, лишь отслужат молебен в полках, бегут к нему наперегонки провинившиеся. Каждый старается прибежать первым: первого Махоня не сечет. Таков у него обычай. Не сечет он и последнего... Но последним быть непросто – тут уж как Бог даст.

Идут к нему и пехотные людишки, идут посошные, случается, и конный заработает розог, но совсем редко: конным в войске вольготье, не то что пехоте. Пехотные всегда терпят самые большие лишения, и дерут их почем зря из-за каждого пустяка: то по нужде сходят не там, где надо, то кусок хлеба припрячут на черный день, а десятский вытрусит, то тот же десятский застанет за игрой в кости – и за все розги! Храпишь ночью – розги, прозевал огонь под котлом – розги, отлучился не вовремя – розги. Не послушался с первого слова десятского или сотского

– плети. За драку и брань меж собой – плети, а если мародерствуешь – и под палки поставят. Украл петуха или курицу – пять палок; украл поросенка или овцу – дюжину; а за барана и все две, да еще в уплату алтына три, которые положит казна, а за них, ежели не ляжешь животом на поле брани, обрабатывать надобно после похода.

Посошных секут реже – они вне войска: строгостей у них поменьше, и надзор за ними послабей. У посошного одно дело – подай или подвези. Не поспел вовремя – старшина съездит в зубы, и дело с концом. Каждый старшина бережет спины своих людишек: на посеченный горб много не взвалишь. А ежели еще Махоня погуляет – неделю к спине тряпье прикладывать нужно. Оттого и остерегаются посошные старшины слать под розги своих посошников, за великую провинность только отсылают к Махоне. Чаше попадают к нему ездовые: то коня перепоят, то овес утащат и на брагу сменяют или на колеса вовремя дегтю не положат... Заскрипит колесо – а остановиться боже упаси! – и старшина тут как тут и крутым матом да батагом через спину... А ежели не в духах, без мата и без батагов, смиренно, как праведник, скажет:

– Вечером-ка явись!..

Вечером, еще более не в духах, забыв, кто в чем виноват, начинает допытывать явившихся:

– Чем винил?

– Колесо затер: дегтю не положил...

– Врешь, братец... А ежели и не врешь – все едино, чтоб поприглядистей был. Давай-ка лоб!

Поставит старшина мелком на лбу метку-чертку, выпет Махоня за эту чертку дюжину розог. Две чертки – две дюжины. За три – три! Ежели поставят на лоб крест – получать плети. За один крест – полдюжины, за два – полную. Иного счета нет: исстари так уложено, и исстари неизменно все так и ведется. Десятские, и сотские, и тысяцкие, и головы стрелецкие, и даже воеводы – все метят провинившихся чертками и крестами.

Так и идут виновные к Махоне с мечеными лбами. А ему большого ума не надо: поглядит на лоб и отстегает ровно по метке. Шельмовать не шельмуют. Всякий метчик, старшина то, иль десятский, иль сам воевода, поставит метку и непременно скажет:

– Гляди, Бог шельму метит!

И каждый вспоминает сто раз слышанную, рассказанную и пересказанную притчу о шельмеце, которого Бог на всю жизнь отметил, и страшится стереть метку, и несет их к Махоне все, сколько бы ему их ни поставили.

Первого Махоня не сечет. Первый сидит при нем и подает ему розги, окатывает водой отсеченных, привязывает и отвязывает их от лавки. У Махони такой обычай... Не сдуру, не с блажи держится его Махоня. Ему всегда требуется помощник, вот и милует он первого, чтобы тот с охотой и старанием помогал ему.

10

Копейщик, у которого царь на смотре копье пробовал, поспел к Махоне первым. Бешено, как впервые взнузданный конь, мчался он. Три креста поставил ему тысяцкий. Только ноги могли спасти его от полутора дюжин Махоновых плетей. Не встал бы он после них: не той он был силы, чтоб выдюжить такой бой, оттого и мчался как скаженный, обгоняя по дороге таких же, как и сам, надеющихся спастись от тяжелой Махоиной руки.

Вскочил он в предбанник, где Махоня уже приготовился к своей немудреной работе, и повалился как мертвый, без единого звука, только брызнулся об пол своим изжелта-бледным лицом.

Махоня плеснул на него водой, посмыкал за бороду, попинал легонько в зад. Копейщик очнулся, показал Махоне лоб.

– Ох, мама кровная! – ужаснулся Махоня и присел перед ним на корточки. – Ну, подымайся, подымайся, – стал он ласково приговаривать и помогать копейщику подняться на ноги.

Копейщик поднялся, шатаясь, подошел к кадке с водой, бултыхнулся в нее головой.

– За что ж тебя так, родимай?

– За царя... – просипел копейщик.

– За которого-то быть царя?

– За нашего... батюшку Иван Васильча!

– Господи! – прошептал Махоня и перекрестился. – Что ты?..

– А ништо... Мы с ним – как с тобой... Погугарили про воинское дело... Копье он у меня... взял!.. Этак половчил в руке... и – в землю!

– Ты ж чаво?..

– А я ничего...

– Ишь ты! А плетки – пошто?

– Копье-то... не встрянуло!

– Ух, матерь кровная! – снова ужаснулся Махоня.

– Дык, теперь што? – радостно сказал копейщик. – Теперь ништо!

– Верноть, – согласился Махоня. – Бог тебя послал нонче первым, а первого я не секу.

Копейщик сел на лавку, откинулся головой к стене.

– Посидь, посидь, – сказал ему Махоня, – а я по нужде отойду. Како зайдут яшо, так и почнем.

Махоня вернулся с улицы, а в предбаннике уже сидело пятеро. Подпоясался Махоня красным кушаком, хлебнул квасу, потер ладонью меж жирных ягодичек и ласково поманил ближнего:

– Не бось, родимай! Розга, она что мать родная, сечет и ум дает!

Мужичок от страха не мог и кафтан с себя снять.

– Подсоби, – сказал Махоня копейщику.

Копейщик споро раздел мужика, уложил на лавку, пристегнул руки-ноги ремешками. Махоня неторопливо вынул из кадки розгу, протащил ее сквозь сжатую ладонь, покачал в воздухе, словно примеряясь, и без замаха, будто вполсилы, стегнул по напряженной, потной спине. Мужик даже дернуться не успел, но заорал так, что Махоня отступил в удивлении и заглянул ему в лицо.

– Больноть? – спросил он ласково.

– Дюжа... – простонал сквозь зубы мужик.

– Далеу полегчей будя, – так же ласково сказал Махоня и снова полосонул через спину розгой.

...Пока он высек первых пятерых, явилось еще человек тридцать. Расселись по лавкам, угрюмо, безмолвно, как перед покойником. Изредка кто-нибудь вышепчет: «О, Господи Иисусе Христе...» – торопливо перекрестится и опять уткнет бороду в кафтан.

Махоня лоснится от пота, хекает в каждый удар – надрывно, как стонет, с руки срываются при каждом ударе брызги пота и падают на иссеченную спину, вьедаясь солью в багровые извивы.

Подошел к Махоне один с крестом на лбу – пот с бороды ручейком...

– Хочь перемена, – обрадовался Махоня, увидев крест. – Дай-кось мне плеть, – сказал он копейщику.

Тот подал ему плеть. Махоня стал разминать ее, подбадривая вконец потерявшегося мужика:

– Не бось, родимай! Плетка, она мягчей розги! Плетка рвет, а рваное быстрей гуйтся. Что ж ты укойл, что плети схлопотал?

– Коня загнал.

– Легко отделаешься, родимай, за грех такой великий! В раю будешь, помянешь Махоню добрым словом.

После трех ударов мужик запросился:

– Погодь, Махоня... Мочи нет.

– Чего ж годеть? – сказал ему ласково Махоня. – Эвон у меня яшо сколь страдальцев! До полуночи не управлюсь. И со счету ты меня сбил, родимай, – сокрушился Махоня. – Чтоб ни Богу в обиду, ни тебе, почну сызнава.

11

Басманов после вечернего осмотра войска, на который он ездил с Горенским и третьим воеводой молодым княжичем Оболенским, решил заглянуть к Махоне, посмотреть на его работу. Горенский подумал было отказаться и поехать выспаться перед завтрашним походом, но почему-то не посмел. Он чувствовал себя перед Басмановым как-то неуверенно – то ли оттого, что впервые шел вместе с ним в больших воеводах, то ли от страха перед ним. Исходила от Басманова какая-то сила, которой Горенский не понимал, но которую чувствовал на себе, чувствовал ее жестокость и властность, и потому не решился.

Махоня уже почти со всеми управился, когда приехали воеводы. Он сел отдохнуть, а чтоб не было перерыву, поставил вместо себя одного из оставшихся. Этот, поставленный Махоней к розгам, был сотским – на груди у него висела похожая на рыбий хвост медная бляха с вычеканенным на ней двуглавым орлом с коронами на головах и растопыренными крыльями. Махоня хоть и был простоват, а хитер – с умыслом выбрал себе замену: увидел на лбу у сотского два креста и решил оставить его напоследок, чтоб избавить по своему обычаю от плетей.

Сотский угрюмо взял розги и принялся сечь.

Был он космат, волосы росли у него даже на ушах, а со лба прорастали клином чуть ли не до самых бровей. У него и кресты были поставлены по разные стороны от этого клина. Широкое, скуластое лицо напряжено, будто он что-то закусил в зубах; из-под тяжелых бровей, вросших густой рыжиной в самые виски, светился большой, налитый кровью глаз и такое же большое, белое, как кресты на лбу, бельмо.

– Ох, аспид! – закричал после нескольких его ударов лежащий на лавке здоровенный, жилистый мужик. – Как ножом режет!

– Ну уж?.. – не поверил Махоня.

– Ей-бо!.. – прорычал мужик. – От тебя терпел... О-о! От сего вся мочь вышла!

– Щекотки не любишь? – осклабился Махоня. – Расхолен, как болярин.

– О-о! – еще вымученней рыкнул мужик и разразился отчаянным матом. Сотский невозмутимо полосовал его спину.

– Возьми ты, Махонь, – взмолился мужик.

– Пущай дощечочет! – весело и довольно ответил Махоня, уверенный, что мужик притворится, и наставительно добавил: – Лозю в могилу не вгонишь...

Тут как раз и зашли в предбанник Басманов, Горенский и Оболенский. Махоня важно поднялся им навстречу, с достоинством поклонился. Остальные тоже поклонились. Сотский злобно глянул на воевод, отбросил сломавшуюся розгу, с неохотой опустил в поклоне голову.

Мужик на лавке продолжал яростно материться.

– Утомонься ты, – сказал ему Махоня и проворно отстегнул ремешки, державшие мужика на лавке.

Мужик тяжело поднялся, глухо сказал сотскому:

– Зверюга!

На воевод не обратил никакого внимания. Со стонами и охами принялся надевать на себя одежду, ненавистно поглядывая на своего учителя и осыпая его проклятиями.

– Чем винил? – спросил мужика Басманов.
– Не винил, воевода...
– Пошто ж сечен?
– А чтоб знал наших!
– Врешь, поди?
– Да пошто мне врать? На лавке-то уже отлежал! Кабы винил, три дюжины схлопотал бы... А так – единую!

Говоря с мужиком, Басманов пристально наблюдал за сотским. Видел, как тот в сердцах отбросил розгу и злобно сверкнул своим страшным глазом. И страх, и отвращение шевельнулись в душе Басманова... Никогда еще не доводилось ему видеть в человеке такой мрачности и яростной, тупой злобы. Сойдись с ним Басманов один на один где-нибудь в укромном месте, не стал бы он зацеплять его, обошел бы, но сейчас ему даже дыхание перехватило от желания затронуть его...

– Чей сотский? – спросил он сурово.
– Нарядного головы Еремея Пойлова.
– За что плети?
– Голове в зубы съездил.
– Небось не вкушал еще плеток?! – сказал угрожливо Басманов. – А ну-ка, Махоня, попотчуй его! Да от меня добавь полдюжины, дабы знал длину рукам своим.

Сотский спокойно, неторопливо скинул кафтан, рубаху, поудобней улегся на лавке... Страха не выдавалось в нем, будто не под плети ложился, а в парной на полок, потомиться, понежиться...

Махоня старался угодить воеводам. Плеть свистела и с протяжным щелком прилипла к спине сотского. Тот молчал, ни звуком не выдавая своей ужасной муки. Последние удары Махоня делал с отяжкой, резко забирая впивавшуюся в спину плеть на себя, и рвал кожу. Сотский вытерпел и это. Когда изморенный Махоня отступил от него, а копейщик дрожащими руками отпустил ремешки, он тотчас и поднялся. Бельмо его ненавистно уставилось на Басманова. Басманов отвернулся, отступил в темный угол.

– Хорош у царя воинник! – сказал ободряюще Горенский. – Терпелив! Како ж имя твое?
– Малюта... Скуратов.

Глава четвертая

1

Когда Шереметев после своего затворничества, якобы отхворав, приехал в Кремль, он, к своему великому ужасу, узнал, что царь ушел в поход. Ему даже зябко стало, хоть и был он в двух шубах, и страшно, и тоскливо: впервые за всю свою жизнь он остался не у дел, впервые не пошел в поход, впервые не снял со стены свой воеводский шестопер.

Первой его мыслью было: кинуться вслед за царем, догнать его, упасть в ноги, сознаться во всем, пусть опалит, садит в застенок – легче ему было это перенести, чем сидеть без дела в Москве вместе с дьяками и писцами.

Всю свою долгую жизнь Шереметев воевал. Не было у него иного занятия, ни в чем больше он не был искусен, ни к чему не склонен... В Боярской думе у него было место, но занимал он его редко: то пребывал в походах, то готовил войско и оставался при нем во времена недолгих перемирий, то наместничал и воеводствовал в порубежных городах. Он презирал всех, кто сидел в Москве, на легких хлебах, боясь и нос высунуть в поле – под татарские стрелы и немецкие пищали. Он и брата своего меньшего, Никиту, тоже уманил из Москвы, чтоб не лез тот со своей горячностью во всякие тайные боярские дела, за которые многие уже поплатились головами. Сидел Никита наместником в Смоленске – на хороших кормах, при большом почете, пять тысяч войска было у него и самая лучшая русская крепость, – только не сиделось ему там. Наезжал он в Москву и наезжал, по случаю и не по случаю, и оставался в ней без причины так подолгу, что царь порой приказывал выставить его вон. Как старший брат, остерегал он Никиту от этих поступков, на которые царь смотрел с большим неудовольствием и мог сурово сыскать за них. Только Никита мало внимал этим предостережениям: месяц-другой потерпит – и в Москву. Нынче неладная зима помешала ему – не стал тащиться по бездорожью, – а случись хорошей зиме и хорошей дороге, непременно уж объявился бы в Москве.

Оставив коня службе, Шереметев решительно направился в думную палату, чтоб доложить там о своем немедленном отъезде. Но пока он шел по дворцовым коридорам и переходам, где после царского отъезда не жгли даже лучин и не ставили стражу, от чего они казались еще мрачней, чем обычно, решительность его ослабела. Здравый смысл брал верх. Первая отчаянная мысль сменилась другой. Она вернула в него прежние опасения и страхи, вытесненные из его души ошарашивающей неожиданностью происшедшего, а давнее недоверие к царю, всегда заставлявшее его быть настороже, вконец образумило его: он спокойно и трезво рассудил, что ехать сейчас к царю с повинной – все равно что лезть голодному волку в пасть. Лучше уж стоять на своем до конца, держаться своей выдумки, которая оправдывала его перед царем и в которую тот, видимо, поверил, потому что не стал даже проверять и доискиваться до истинной причины его затворничества.

Время было не самое раннее, и в думной палате Шереметев застал только Мстиславского и боярина Захарьина-Юрьева.

– Отраднo видеть боярина в добром здравии, – приветливо сказал Мстиславский и даже встал, чтоб встретить его.

– Слава Богу! – ответил Шереметев. – Не по мне сыч кричал.

Посидели, помолчали.

– Темна хвороба сия, – сказал Захарьин не то сочувственно, не то лукаво. – Как распознать – живой иль мертвый?

– Да уж... – буркнул Шереметев.

Снова помолчали.

Захарьин приклонился к Шереметеву, приглушил голос и доверительно сообщил:

– Царь перед походом больно гневен был... Велел живого иль мертвого тащить к нему. Духовник царский, протопоп Андрей, отговорил...

– Да неужто?! – засмеялся Шереметев, но в душе содрогнулся от этого известия. «Выходит, сыч-то кричал! – подумал он с тоской. – Да Богу было угодно, чтоб жил на земле в сей час протопоп Андрей!»

– Так уж и отговорил?

– Отговорил... Тем, что ангелы будто в такого вселяются и тревожить их – грех великий!

Захарьин тихонько, с удовольствием засмеялся. Глаза его хитровато, заговорщицки блеснули...

Шереметев нахмурился, холодно сказал:

– Прикинул я к себе хворь, дабы в думу не ходить. Больно шумно тут стало в последнее время... А я уж свое отшумел.

Шереметев сам подивился своей выдумке, которая неожиданно пришла ему в голову: и отговорку хорошую нашел для себя перед царем, и Захарьина отбрил. У того даже челюсть отвисла от неожиданности: все что угодно ожидал он от Шереметева, только, должно быть, не такого признания.

«Что, съел, царский угодник! – подумал со злорадством Шереметев. – Небось на слове думал меня словить?! Да старый ворон даром не каркнет!»

Шереметев поднялся с лавки, крикнул...

– Новости каки есть?

– Новости есть, – ответил Мстиславский. – Как же не быть?

– Сказывай...

– Первостепенно: братец твой, Никита, епистолию дослал...

– Се что! Он много их шлет. Еще сказывай!

– Князь Андрей Михайлович Курбский, прибыв в Дерпт, отписку дослал о прибытии...

– Что за новость? Раз отбыл, непременно прибудет.

– ...а боярин Иван Петрович Челяднин по пути в Москву.

– Эк и новость! – по-прежнему равнодушно сказал Шереметев, но на сей раз покривил душой. Эта новость обрадовала, очень обрадовала, однако виду он не подал: откровенно радоваться возвращению в Москву боярина, которого царь целых десять лет держал в отдалении, было не совсем безопасно. Неизвестно, как встретит его царь на Москве: милостью ли одарит за прежние лиха или еще сильнее заопалит? Всем было ведомо, как не благоволил к нему царь. В вечном подозрении держал, ни на год не давал ему покоя, переводил из одного города в другой и даже звания конюшего¹⁸, которым исстари владел род Челядниных, лишил...

– Нешто не новость? – удивился Захарьин. – Не частым гостем был боярин на Москве.

– Да уж порты не протирал по думным лавкам!

Мстиславский, чуя, что они вот-вот сцепятся, подошел к полке, на которой ворохом лежали грамоты и свитки, прицелился глазом, безошибочно вытащил какую-то грамотку, развернул ее.

– Братец-то твой Никита... На сей раз совсем уж пречудную епистолию дослал. Грозится в Литву отъехать, коли государь его в Москву не воротит!

– Спятил Никитка! – ужаснулся Шереметев. – Иному б Медынь иль Таруса раем были, а ему в Смольне не сидится!

– Нраву он переменчивого, – подтравил Шереметева Захарьин. – Как баба на сносях!

– Се истинно! – сокрушенно согласился Шереметев.

¹⁸ Конюший – боярский чин; среди прочих чинов – кравчих, ловчих, постельничих, оружничих – считался высшим.

2

Расстроенный и сокрушенный вышел из думной палаты Шереметев. Приказный люд – писцы, подьячие, приставы, спешившие по своим делам в думу, сталкиваясь с ним в коридоре, учтиво кланялись и замирали, ожидая, пока он удалится.

Шереметев не замечал их, угрюмо проходил мимо.

На переходе, что вел из думной палаты в царский дворец, горел масляный фонарь. Он нещадно чадил, в нос шибало угаром.

Шереметев постоял в раздумье на переходе и, сам не зная зачем, перешел на царскую сторону. Пошел по дворцу, отрешенный и замыслившийся, растревоженный причудами брата своего. «Не сносить ему головы, – думал он удрученно. – Виданное ли дело – царю такое писать... Отъедет в Литву! Да за такое... Эх, Никита, Никита!»

Шереметев, занятый своими мыслями, не заметил, как по одному из переходов ушел в старый, нежилой дворец, чудом уцелевший в последний пожар и сразу же покинутый царем. К нему год спустя были пристроены новые хоромы, а старые, все еще пахнувшие гарью и палом, с закопченными слюдяными окошками, пустовали. Хранился в них всякий скарб: старая утварь, лавки, столы, разошедшиеся кадки, дырявые, битые котлы, цепи, веревки, крюки, багры; пылились и сгнивали стертые ковры, дотлевали изъеденные молью, старые шубы; разваливались в прах, в щепы некогда роскошные великокняжеские троны, превращались в труху громадные кровати, на которых усердные хозяева этих хором зачинали своих наследников. Сыскать тут можно было даже гробы и могильные кресты, невесть как очутившиеся среди всего этого хлама.

Шереметев обошел всю старую часть дворца, позаглядывал во все углы, попинал старое барахло, которое служило московским государям еще тогда, когда он, Шереметев, был совсем молод. Рассохлись и развалились троны, погнили бархат и парча, поломались посохи, пооблущилось золото на набалдашниках, порыжела кость, померли государи, восседавшие на этих тронах и державшие в своих руках эти посохи, а он, Шереметев, все еще живет, дышит, видит, слышит, мыслит, служит новому государю и терпит от него такое, чего не пришлось терпеть ни от деда его, ни от отца.

В одном углу Шереметев наткнулся на обрывок какого-то старого знамени. Поднял, всмотрелся – узнал знамя, с которым великий князь Василий ходил отбивать у литовцев Смоленск. Шел с ним в том походе и Шереметев – дворовым воеводой. Было это полвека назад. Был он тогда молод, честолюбив, горяч, отчаедашен. Три раза ходил с войском на приступ. С третьего раза взяли город. На радостях даже не брали в плен литовцев. А князь Василий еще и деньгами одарил их, отпуская с миром. Помнит Шереметев то далекое время, помнит тот поход – он был первым большим походом в его жизни. Потом было множество других походов: против поляков, литовцев, татар, черемисов, ливонцев, шведов... Теперь и не счесть уже, во скольких он перебыл за эти пятьдесят лет!

Воспоминания о Смоленске опять вернули его к мыслям о брате. «Эх, Никита, Никита! Я тот город своей кровью добыл, чтоб ты мог в нем сидеть припеваючи! И пошто ты такой норывистый? Пошто на рожон лезешь? Аль великую охоту имеешь быть кинутым на божедомке¹⁹ – без могилы, без креста?»

Шереметев зашвырнул в сердцах обрывок знамени подальше в угол, отряхнул руки. «Буде, еще все и образуется? – подумал он с надеждой. – Неужто государь не разберет, что с жиру он?»

¹⁹ Божедомка – место погребения казненных, самоубийц и вообще умерших без церковного приготовления, которых по церковным законам не разрешалось хоронить на кладбище.

Знает Шереметев, отчего Никита в Москву рвется: чтоб пировать на царских прохладах²⁰ да с соколами по урочищам мотаться! В Смоленске много не напируешь, соколами не потешишься: там рубеж, там всегда нужно быть начеку. Сиди за стенами и жди! Враг может пойти завтра, может и через год – а ты сиди, жди! Понимал Шереметев, как не по душе Никите такое сидение, и клял уже себя всю за то, что уговорил его уехать из Москвы.

...Пройдя узким коридором, забранным по стенам дубовым брусом, преминув бывшую трапезную покойной княгини Елены, из которой маленький переходный коридорчик с узкими, стертymi ступенями вел в верхнее жилье – в терем, где некогда княгиня обреталась со своими девками, мамками, няньками, Шереметев через ряд обветшавших хозяйственных приделов вышел в черные сени. В высоких сводах зияли пустые проемы окон, сквозь которые к самому полу опускались толстые наклонные столбы света. Каменный пол дышал холодом. Большие двустворчатые ворота, в которые когда-то въезжали возы, доставлявшие в царский дворец съестные припасы и воду, закосились на раздерганных петлях, в щели набился снег – не таял, лежал широким узорчатым пластом, похожим на петушиный гребень. В глубине сеней, там, где рубленый сводчатый восьмерик опирался на мощные выступы белокаменного основания, темнел вход в подвал. Шереметев приблизился к нему, заглянул... Затхлая стужа свела ему ноздри.

Сквозь незаглушенные отдушины в подвал пробивался тусклый свет, отчего казалось, что подземелье наполнено прозрачной сизой плесенью. Чуть выделялись светом гребни ступеней. На одной из них в расплывчатом, сером пятне света Шереметев заметил какой-то шевелящийся комок – не то собака, не то человек...

– Эй! – крикнул он вниз. – Кто там?

Голос его бухнулся, как камень в глубокий колодец, медленно затих внизу. Ему показалось, что комок зашевелился и как будто пискнул. «Псина», – подумал он, но всмотрелся повнимательней: комок шевелился...

– Спаси Господи! – перекрестился Шереметев и ступил на черные, расплывшиеся под его ногой гнилые ступени. Спустившись пониже, снова всмотрелся.

– Ба-а! – выдохнул Шереметев, встретившись с большими черными глазами, в упор смотревшими на него. – Царевич?! Федор Ианыч! Ты ли се, мальчона?

Круглые, немигающие глаза Федора с ужасом смотрели на Шереметева.

– Остынешь здесь, Федор Ианыч! Пошто ухувалялся в погреб? Няньки, поди, с ног сбились... А ты – подумать токо!

– Не забижай меня, – тихо сказал Федор. – Тятка прознает – голову тебе отрубят.

– Ишь, чему тебя обучили?! – подивился Шереметев. – Видать, няньки твои, суки борзые? Под подолами кобелей водят, а тебя, сиротинку, и доглядеть некому. – А про себя подумал: «Мачеха твоя и того пуще... Гиена лютая!»

– Идем-ка отсюда, Федор Ианыч!

Шереметев взял царевича за руку, тот послушно пополз за ним наверх. В сенях Шереметев оглядел его, поправил на нем соболью мурмолку, потрепал за нос:

– Куды – к нянькам?.. Аль на башню ползем?

– На башню, – тихо, несмело ответил Федор.

Шереметев толкнул ногой створку ворот – она с треском и визгом отворилась немного... Дальше ее не пустил сугроб.

– Выходи, царевич! Поперед тебя не могу!

– А в башне страшко?

– Не страшко, царевич! Там стража...

²⁰ Прохлада – отдых с развлечениями, веселое времяпрепровождение.

Шереметев взял царевича на руки и пошел прямо по снегу, забредая в него по колено, потом выбрался на дорожку, протоптанную к Успенскому собору, обминул собор, дошел до Кремлевской стены и опять побрел по снегу вдоль стены, до самой башни.

Под башней, рядом с притыном²¹, был наметен большущий сугроб. В сугробе торчал бердыш, на нем висела сабля в потрескавшихся, побитых деревянных ножнах, кожаный сыромятный пояс, на снегу валялись меховые варежки.

– Разбойник, – недобро проворчал Шереметев, опуская Федора на землю. – Вишь, царевич, как слуги твои службу блюдут! Нет на посту окаянного!

От сугроба за башню вели следы. Шереметев, ступая след в след, заминул за башню.

– Ах, разбойник! – закричал он. – Нет тебе иного места нужду справлять?! Чрево свое рассупонил!.. Этак весь Кремль з..! Надевай порты, не то дындло свое отстудишь – бабы горевать будут.

Он выволок стрельца из-за башни, поставил перед собой – тот стоял ни живой ни мертвый.

– Чей таков?

– Прибор головы Авдея Сукова...

– Улежно брашнит вас Авдейка Суков! Голова на службе, а брюхо натуже! Подпояшься, Сидорова коза! И гляди мне! – погрозил Шереметев ему кулаком. – Дозоры вверху бодры?

– Сидять... – лепетнул стрелец.

Шереметев с царевичем вошли в башню. На широких ступенях, уходящих крутым изгибом вверх, была настелена солома, в нишах стояли бочки с песком, со смолой, на стенах висели багры, крюки, тяжелые колотуши на пеньковых верзилах²², в одну из бойниц была просунута небольшая пищаль, охваченная по казне кожаным пояском, чтоб не отсыревал порох в зелейнике, остальные бойницы были закрыты деревянными щитами.

Лестница, все сильнее изгибаясь и суживаясь, ползла вверх. Шереметев с трудом забрался на верхний дах, втащив за собой и царевича. На даху двое дозорных с жаром метали кости. Увидев воеводу, они в ужасе сунулись лбами в холодный пол и замерли.

– Разбойники! – напустился на них Шереметев. – Костарством шалуете, а к городу подступили татары!

Стрельцы не шевелились, не поднимали голов – лежали как мертвые.

– Померли? – тихо, жалобно спросил царевич.

– Таких и бойлом не убьешь! Носы в щели позаткнули и молятся куриному Богу! Подымайсь!

Дозорные мигом вскочили, виновато насупили лица.

– Сейчас быстро вниз, – приказал Шереметев, – и во дворец, скажите: царевич на стрельнице, Москву оглядывает!

Дозорные умчались.

– Кабы был ты погоже, а я помоложе, забрались бы мы с тобой, Федор Ианыч, на самый верх, – сказал ласково Шереметев и кивнул на стремянку, прилаженную к задней стене башни.

Лестница вела наверх, туда, где на толстых дубовых стропилах под островерхим навесом висел большой набатный колокол. Это был новгородский вечевой колокол, привезенный на Москву еще великим князем Иоанном Васильевичем. С тех пор не сзывал он уже непокорных Москве новгородцев на их буйные вече. Теперь он сзывал москвичей – в Кремль, за его спасительные стены, когда в степи за Москвой-рекой появлялась татарская конница.

²¹ Притын – место, где ставится стражник.

²² Верзила – длинная веревка.

Шереметев отворил небольшую железную дверцу, яростно проскрежетавшую проржавевшими петлями, ступил на облом – узкий настил, положенный поверх выдающихся из стены толстых бревен.

– Ну, поди сюда! – Шереметев повернулся к Федору, протянул руку. Тот робко подступил шага на два и вдруг заплакал, боясь подойти ближе.

– Э-хе-хе! – вздохнул Шереметев. – Робок ты больно... Ну, оставь слезы, оставь... Поглянь! – Шереметев потянул Федора к себе. – Вишь, Москва! Государем станешь – твоя вотчина будет!

Федор хныкал в полу Шереметевой шубы и не хотел смотреть на свою будущую вотчину. Мурмолка свалилась с него, обнажив большую круглую голову с редкими белесыми волосиками, похожими на пух оперяющегося птенца. Шереметев поднял мурмолку, посильней нахлобучил ее ему на голову. Федор стал затихать. Шереметев уже не трогал его, молча смотрел вдаль, на Заречье... Там, за Серпуховскими воротами, начиналась старая Ордынская дорога, по которой когда-то московские князья ездили в Золотую Орду за ярлыками на княжение. Теперь по этой дороге подкрадывается к Москве другая орда – Крымская. Сколько раз уж встречал и отгонял ее Шереметев?! Крымский хан на воротах своего дворца особый кол установил, на который собирался вздеть голову Шереметева, если бы тот живой или мертвый попал ему в руки.

Где-то там, в той стороне, была и Тула, близ которой последний раз сошелся Шереметев с ханом. Великий бой дал ему Шереметев, хоть и было у него войска раз в пять меньше, чем у хана.

Раненый конь придавил тогда Шереметева, и растерялись русские полки без воеводы, – только тогда и справил хан победу, да и то неполную: Алексей Басманов с остатком войска стал в Судбищенских оврагах, и не выбил его хан оттуда, пока и царь с Оки с главным войском не подоспел.

3

На торгу в мясных рядах переполох. Народу скопилось уймаище, галдеж, давка... Всех распирает азарт, любопытство, ретивые лезут куда повыше, чтоб не прозевать ничего, не прослушать...

Мясники, в нагольных кожухах, подпоясанные бычьими жилами, разъяренные, с секачами в руках, отгоняют наседающую на них толпу, кричат, матерятся...

На крюках, куда в обычай подвешивают полти, висят дохлые собаки; кое-где под ними застывшие лужи крови – вешали и живых.

Мясники затворили лавки, повесили на мясные лари замки. Торг не ведут. Ругаются с толпой, огрызаются на подзадорки. Рышка Козырь, родной брат Махони Козыря, по прозвищу Боров, самый сильный и самый здоровенный среди мясников, захватил двухсаженное стропило и жмет им в толпу. Передние вопят: Рышка жмет страшно, сила у него буйволовая, глаза от натуги вскровенели, морда вспучилась, побагровела, шея – как дубовый комель...

– Осади! – хрипит он.

Задние напирают, передние вопят... Рышка жмет, держит толпу. Кому полегче, тот глумливо орет:

– Псятинки – на закуску!

– Секани-ка ляжечку!.. С шерсткой!

– Рышка!.. Боров пузастый! Пуп распупится!

– Хрен вам в нюх! – хрипит Рышка.

Остальные мясники побрали дреколье, тыкают им, махают, а один по-иному смекнул – водой из отстойной ямы. Бухнул в нее пешней, пробил лед и поливает по головам.

От такого купания толпа подала назад. Рышке стало полегче.

– Ге, лупандеры! Токо бы и пjaliли зеньки! – орет он.

– А чего нам – поглядим!

– Ловчено с вами сыграли!

– Не ловчей, чем с вами! – огрызается Рышка.

– Сорок дён смехоты!

– Слышь, Рышка?.. Кабыть тебе ишо на пуп соли сыпнули!

Рышка злится, сопит. Которые с ним лицом к лицу, те молчат, не растрavляют его – боятся. Знают: разойдется Рышка, всем мало места будет. Не раз видывали, как Рышка быка за хвост на землю валит. Но те, что подальше от его кулаков, подзуживают:

– Небось и на постели тебе кобеля сунули?

– Слышь, Рышка?.. А, Рышка?!

– Ну, чаво? – нехотя отвечает Рышка, ожидая подвоха.

– А никак ведьма вам кобелей нацепляла?

– Эге ж, ведьма... Така, как ты!

– Да у мене и хвоста-то нет!

– Спереди у тебя хвост!

Толпа гогочет, колышется, сзади уже не напирают, но народу прибывает и прибывает.

– Ужо не спущу я ноне плотницким, – грозится Рышка. – Будут они у мене тесаны!.. Эй, слышьте, плотницкие?! Есть вы тутa?! Задира ваша вам даром не сыдет!

– Не сыдет! – подгукнули Рышке и другие мясники.

Мясницких на Москве боялись все. Занятие у них было такое, что без силы и ловкости не управиться, – вот и подбирались там мужички дебелие и ядреные. Задираться с ними – себя не жалеть! Даже кузнецы, тоже не без силы, и те не решались ввязываться в драки с мясницкими. Если выходили на кулачный бой мясницкие, все отступали. Двумя, а то и тремя улицами ходили на них – и все равно не одолевали. Однажды на потеху царю сошлись они с кадашевскими да бронницкими слободчанами, полдня бились, истерзали слободчан, избиили их в кровь, изломали им кости, но и сами три дня крамарен не отмыкали и торго не вели. Рышкин отец помер от того боя: стар был, не выдюжил. А слободчане целую неделю таскали на погост покойников. Царь от такой потехи в гнев пришел и запретил с той поры кулачные бои.

Истосковались москвиты по кулачной потехе. Покуда царь был в Москве – терпели, не хотели плетей получать. А как ушел он в поход – почували свободу, и загулял в них задор. На третий день по отъезду царя дворовые чеканщики спoiли пушкарей, стоявших на Варварской стрельнице Китай-города, и выпалили из пушки тухлыми яйцами по Варварке. Окольный Темкин, оставленный в Москве с сотней черкесов для держания порядка, тех пушкарей поставил на правож да жалованье им усек на два алтына, а чеканщики ходили по торгу и бахвалились, что выпалят еще и по Ильинке – с Ильинской стрельницы. Пушкари этой стрельницы не подпускали теперь к себе никого: боялись, чтоб и им не угодить под плети.

По субботе завелись меж собой на торгу гончарники: перебили все свои горшки, кувшины, миски... Пять возов черепков вывезли с гончарных рядов. Весь месячный наработок перетрошили в запале. А в воскресенье, перемирившись в кабаке, потащили на кулачки бондарей – за то, что будто те осенью торговали гнилыми кадками. Сошлись опять прямо на торгу, у собора, уж и кожухи поскидали, да попы развели, не дали возле храма Божьего буйству грешному разразиться. Пошли они на Москву-реку, да, покуда шли, позабыли, из-за чего сыр-бор загорелся. Повернули опять в кабак.

Окольный Темкин ездил по торгу с черкесами и подсмеивался и над бондарями, и над гончарниками: хотелось ему стравить их, чтоб потешиться в царское отсутствие кулачным боем. Не стравил – вернулся в Кремль злой. Два дня не появлялся на торгу.

Нынче, только выехал из Никольских ворот, увидел толпу в мясных рядах и помчался с черкесами во весь опор.

Сидящие на крышах увидели скачущих черкесов, закричали, замахали руками... Да куда тут бежать!

Черкесы вломились в толпу, подняли коней на дыбы: засвистели нагайки, завопили люди, захрапели испуганные лошади...

Темкин орудовал саблей – хлестал плашмя по головам, по спинам... Какой-то мужичина подвернулся под лезвие – полоснулась сермяжная ферязина до самого тела, мужик выгнулся, взвыл, глянул волчьим взглядом на окольного и пустил в него какое-то бранное проклятие. Темкин не расслышал, но погрозил мужику саблей. Мужик, скорчась, исчез за спинами.

Вскоре ни одного человека не осталось в мясных рядах. Даже сбитые и подавленные старались поскорей заползти за какой-нибудь ларь... И в соседних рядах не осталось ни души – разбежались со страху. Только на крышах еще сидели людишки, боясь спускаться, чтоб не попасть черкесам под руку.

Попрятались и мясники. Один Рышка Козырь стоял с поломанным стропилом в руках среди перевернутых ларей, развороченных настилов и навесов. Валялись шапки, рукавицы, сумки, корзины, какие-то крюки, топоры, хомуты...

Рышка прихотывал от удовольствия, гордо выпячивая свое большущее пузо. Темкин грозно надвинулся на него конем.

– Эй, обрин! Пошто учинил бучу?

– Бучу не учиняют, болярин, буча сама учиняется.

Темкину, видно, понравилось, что Рышка назвал его боярином: он усмехнулся, с любопытством спросил:

– А еще чего скажешь?

– А боль ничаво. Зря-то баить не свыклай.

– Ан врешь! Пасть-то широка, и зуб редок.

– Пасть, чтоб попасть, болярин! А зуб редок – так, бают, кобыла лягнула.

– Ну а псов пошто на крюки поцеплял? Блаженным на диво иль кому во вред?

– Через псов, болярин, у нас с плотничкими крутая выдет! То они нам кобелей нацепляли. Эй, братя! – крикнул он попрятавшимся мясникам. – Выходь ужо!..

Мясники по одному стали вылазить из своих схованок. Но к Рышке не приближались, стояли поодаль – боялись Темкина.

– Мяснищие! – угрозливо крикнул Темкин. – В приказ похотели?!

– Не по нашему злу, болярин, – загалдели мясники. – Кабы нас не замали... Плотнищие – анафемы!

– Уж и вы не ангелы!

– До шкоды мы не падки, болярин, – твердо сказал Рышка. – Ежели где и што... так не по-зряшному. За честь свою стоим.

– Честь ваша – лузга гречишная!

– У кого што, болярин, – спокойно, с достоинством проговорил Рышка. – И мурав за честь свою стоит. Ужо мы сыщем с них, с плотничких, – сказал и покачал в руке стропило.

– Но-но! – пригрозил Темкин, хотя и знал, что никакие угрозы не подействуют на мясничких и они сделают так, как надумали. – Дьяки сыщут...

– То нам не вправ, балярин. Дьяки – пером, а мы – гужом.

– Но-но! – еще строже осек Рышку Темкин. – Гляди ты мне!

– Так бается, болярин, – невозмутимо ответил Рышка.

– Бедовый, гляжу, ты! – подивился Темкин, но больше нападать на Рышку не стал. Стеганул своего каракового и поскакал вдоль торгога.

Черкесы с гиком пустились за ним.

4

У Покровского раската²³, в кабаке, который на Москве зовут «Под пушками», людно с самого раннего утра. Подьячие, писцы, дрягили с Мытного двора, пекари, привезшие чуть свет на торг свои хлебы, стрельцы, ярыжки толкуются у раската неотступно.

Вдовая кабатчица Фетинья держит кабак в порядке, в прибыли. Хоть и не больно просторно у нее, зато тепло и чисто. Столы и лавки всегда скребаны, полы и стены мыты с пылью, чтоб клопы и блохи не плодились, на стенах фряжские листы²⁴ с разными диковинными птицами и зверями. Сама Фетинья всегда нарядная, в дорогом кокошнике с бисерным окладом, ласковая, уступчивая – может и в долг налить.

Фетинья еще молода, по-вдовьи томна, соблазнительна и красоты поразительной. Мужики вокруг нее – как мартовские коты!

– Фетинья, поди, три года немужня... – заводят они с ней хитрый разговор.

– И чиво?..

– Ды как – чиво? Телка и та хвост дерет!

– Телку быки замают.

– Тебя нежели – телки?..

– Буде, и телки! – Фетинья засмеется, покраснеет, но глаз не потупит, обожжет приставоуху горячим взглядом, так что у того горло судорогой перехватит.

Нынче у Фетиньи Сава²⁵ плотник с артелью гуляет. Фетинья свежего меду достала из погребца-медуши, уважила Саве.

Буен Сава в гульбе – первый на Москве задира и зачинщик всех дурачеств, но и плотник искусный. На весь край знаменит. С Постником Бармой собор Покрова на рву ставил да и царский дворец в Александровой слободе рубил, за что ему царь пятьдесят рублей пожаловал сверх корма и приговорного жалованья.

Сава невелик, костляв, замухрыст... Голос у него сипл – от верховых ветров, продувших его насквозь на куполах соборов и церквей, глаза ленивы, но веселы. Сава безбород, голова курчава и рыжа, как пожухлая осенняя трава.

– Песню бы загуляли, братя, – сипит Сава, прикладываясь к березовому корцу, куда Фетинья услужливо плеснула медовухи. – Нутру измоторошно!

Из угла один из артельщиков тонким бабьим голосом затягивает:

Эх, ды застучали сякиры-топоры...

Голос его дрожит, слабеет, вот-вот обсечется, но тут дружно, с тяжелым выдохом вступают остальные артельщики:

Эх, ды застучали ва темном бару...

Вышедший по нужде на улицу пьяный артельщик стоит под стенкой, упершись в нее лбом, и плачет.

Из кабака доносится угрюмое:

Эх, пашто падеякают пад корню,

²³ Раскат – специальная насыпь, сруб, заполненный землей, где устанавливались пушки.

²⁴ Фряжские листы – иноземные гравюры.

²⁵ Сава – в написании имени сохранена орфография XVI века.

Пашто клонют младую главу...

Рядом с кабаком на двух колках, врытых в землю, стоит большая черная доска под двускатным навесом, исписанная густыми белилами. Возле доски другой пьяный артельщик держит за бороду щупленького подьячего, сует ему под нос копейную деньгу и настырно требует:

– Чти, строка, чего на доске писано? Чти – копейную получишь!

Подьячий осторожно высвобождает из лап мужика свою бороду, берет у него деньгу, внимательно ее осматривает.

– Резаная²⁶, – говорит он обидчиво и возвращает монету артельщику.

– Чти, анафема! – вскидывается артельщик и снова пытается ухватить подьячего за бороду. – Чти, вя то!..

– Ну, давай, давай, – соглашается подьячий и берет монету. – Ишь, ерепен какой! До митрополичьего указу он охочий! Ну, внимай... А деньга все же резаная.

– Ды я тебе яшо корец меду выставлю, – хрипит ублажаячи артельщик.

– Ну, внимай! – Подьячий начинает читать писанный полууставом митрополичий указ: – Не велено священническому и иноческому чину по священным правилам и соборному уложению в корчмы входить, упиваться, празднословить, браниться...

– Вон чиво?! – дивится артельщик.

– ...и каки священники, диаконы и монахи учнут по корчмам ходить, упиваться, по дворам и улицам скитаться пьяны, сквернословить и биться, таких бесчинников хватать и заповедь на них царскую брать – по земскому обычаю, как с простых людей, дражников, берется, и отсылать чернцов в монастыри к архимандритам и игуменам, и те их смиряют по монастырскому чину...

– Эва!.. – икнул мужик. – По такую строгость чернцы начисто перемрут. Людяче ж, поди, в них нутро, а?

Подьячий не ответил, продолжил чтение:

– А попов и диаконов слати к поповым старостам, каки являют их святителям, и святители правят их по священным правилам. На каковом чернце заповеди не можно доправить, то взять заповедь на том, кто его поил. Не велено також, – повысил голос подьячий, – чтоб православные христиане от мала и до велика именем божиим во лжу клялись, на кривь креста целовали, непристойными словами бранились, отцом и матерью скверными речами друг друга попрекали. Бород чтоб не брили и не стригли, усов не подстригали, к волхвам, чародеям и звездочетам не ходили.

– Ох, лыгаешь, самочей, – прищурился одним глазом мужик. – Разе может митрополит так указать? Како ж люди промеж себя говорить-то будут?

– Побожиться тебе, Фома-невер?!

– Побожись!

– Вот те крест! – истово перекрестился подьячий.

Артельщик горько сопнул, растянул губы и заплакал. Слезы ясно побежали по его растрепанной бороде. Он размазал их по щекам, по носу, трясущимися руками достал из череска²⁷ еще одну серебряную монету, протянул ее подьячему.

– Бери последнюю... Все одно теперя... Померла Расея! – взмахнув руками, крикнул артельщик и, шатаясь, пошел в кабак.

В кабаке Сава опаивал артельную братию. Перепадало и ярыжкам – им Сава тоже подносил. Ярыжки сидели у порога: дальше их не пускали, чтоб пол не следили и не воровали. Ярыжки сосали из разбитых, повыщербленных горшков и мисок хмельную медовуху – Фети-

²⁶ Резаная – незаконно уменьшенная в весе монета.

²⁷ Чересок – кожаный пояс, в котором носили деньги.

нья не давала им ни корцов, ни ковшей, – блаженно щурились на Сава, кивали ему головами, как кони на водопое, и готовы были молиться на него.

В кабаке было испарно. От горящих лучин шел крутой смоляной запах. Сава сидел без кафтана, в одной миткалевой набойной подпояске, красный, хмельной, но гордый и важный. Ярыжки лебезили перед ним, подольщались. Сава делал вид, что не замечает их, но время от времени сурово приказывал Фетинье:

– Поднеси-кось злыдным!

– Савушка, царько наш радемый! – со слезами бормотали ярыжки и становились перед ним на колени.

Артельщик, которому подьячий читал митрополичий указ, войдя в кабак, затянул с порога, как дьякон в церкви:

– Померла Расея! Христиане, Расея наша померла. – Он захлебнулся слезами, уронил голову на грудь, замотал ею в отчаянье.

– Фетинья, – сказал лениво Сава. – Взвару²⁸ Фролке, пушай горю свою ублажит. Да не в корце... Горю корцом не ублажишь. Подай ему скопкарь. Садись, Фрола, поминай Расею!

Фетинья принесла скопкарь со взваром, ставя на стол, коснулась плечом Сава... Сава сопнул, захватил ее за пояс одной рукой, другой ловко подернул подол.

– Не лапь, – спокойно отвела его руку Фетинья. – Не по тебе лас.

– А уж не по мне?

– А не по тебе...

– Не пригож аль претен?

– Квол, – хохотнула Фетинья.

– Эх, дура баба! – оживился Сава. – Хилое дерево завсегда в сук растет! Кабыть допустила до себе, я б тебя быстро умаял!

– Кабы сам не умаялся!

– Эх, баба! – пуще заборзился Сава. – Ни в укор, ни в перекор – реку пред честным народом: коли не умаешься, рублю тебе избу новую! А попросишься – мед и пиво нам даром будут.

– Экой бахвал! – засмеялась Фетинья. – На посуле, что на стуле: посидишь и встанешь.

– Пред честным народом реку! – ударил себя в грудь Сава. – Рублю избу! Пятистенку!

– И крест поцелуешь? – подхитрилась Фетинья.

Сава вытащил из-под рубахи нательный крестик.

– Пред Богом и пред честным народом – целую крест!

– Гляди ж, крест целовал, – потупившись, тихо сказала Фетинья.

Артельщики захохотали, загалдели, понесли похабщину. Ярыжки у порога скабречно похихикивали, пялили глаза на Фетинью.

Сава цыкнул на артельщиков, ярыжкам пригрозил:

– Угомоньтесь, братья! Не мутите бабий стыд. Не по похоти она, но чтоб нашу мужью породу под позор подвести. Так на том ей не встоять! Не быть мне Савой!

5

Марья лежала на шелковых подушках – голая, разметнувшаяся, изнемогшая от беременности... Черные, воспаленные глаза зло метались в глазницах. С нетерпением ждала Марья, когда мамки оботрут ее влажными рушниками. Она уже не ходила в баню – была на сносях.

²⁸ Взвар – напиток из пива, вина и меда, сваренный с пряностями.

В спальне стоял розовый полумрак. Сквозь слюдяные окошки пробивался розовый свет, похожий на дым от каминов. Свет висел легким пологом, не касаясь ни стен, ни пола, ни потолка, отчего спальня казалась похожей на глубокий темный колодезь.

Закусив губу, Марья изнывала от нетерпения. Мамки неслышно, как тени, двигались по спальне, плескались водой, хлопали мокрыми рушниками, перешептывались...

– Алена!.. – плаксиво и зло вскрикнула Марья. – Приведи старуху.

Алена, худенькая, смиренная девка, послушно юркнула за дверь. Она была любимой служанкой Марьи. Только ее одну звала Марья по имени, у остальных и имен не знала, не терпела никого и скрепя сердце допускала к себе.

Алена ввела в спальню здоровенную усатую старуху, похожую на стражника кремлевских въездных ворот.

Марья, увидев ее, съезжилась, подобрала под себя ноги, с отвращением и страхом спросила:

– Ты кто?

– Та я, кто тебе нужен, матушка, – грубым мужским голосом ответила старуха, сняла телогрею и решительно направилась к Марьиной постели.

– Не зови меня матушкой, – зло приказала Марья.

– Завсегда так величают у нас цариц, – невозмутимо пробасила старуха.

– Так зовут у вас старух, – процедила сквозь зубы Марья. – Зови меня государыней!

– Как тебе угодно, радость моя. Буду величать государыней.

– И знай!.. – Марья прищурилась, стиснула зубы. – Прежнюю свою повитуху я плетью высекла и вон выгнала!

– Нерадива была кумушка моя? – спокойно спросила старуха.

– Колдунья!

– Ох, сатанье дело... – перекрестилась старуха.

Закрестились, зашептались мамки. Алена выронила из рук медный таз – он звякнул об пол, резко и пугающе, как истошный вскрик. Марья в ужасе завизжала:

– Пошли вон! Змеи! И ты, Алена... Нет, ты останься! Я боюсь сей ведьмы!

Мамки ушли. Где-то в глубине дворца затихли их осторожные шаги, замерли приглушенные голоса. Алена стала у Марьиного изголовья, принялась собирать и сплести ее волосы.

– Пошто яростишься, государыня? – стараясь приглушить свой грубый голос, ласково проговорила старуха и приклонилась к Марье. – Плодная же ты... А ярость плод гнетет. У ярых плодниц худая рожа²⁹... и дети хилы рождаются.

– Накаркай... Язык вырву!

– Баю, что изведу ведомо.

– Что еще тебе ведомо?

– Вельми много, государыня. Век мой долог...

– Волховством плод в утробе сгубить можно?

– Можно, государыня. Наговорным зельем – до второй и до третьей луны. А после третьей луны Господь Бог свое око кладет на младенца: ничем уж тады не сгубить, не вытравить его. Ежели токмо грех тяжкий взять на душу...

– И ты колдунья! Вижу, колдунья! – задрожала Марья, вырвала у Алены свои волосы, крепко прижала зачем-то их к груди. – Или ведьма! Вон какая страшная!

– Бог не дал мне родиться такой пригожей, как ты, радость моя, государыня! Ты пригожа, как царица небесная! А у меня душа теплая и ласковая. Не страшись меня. У колдуний зубы черевинные³⁰ в небо вросшие... А у меня их вовсе нет.

²⁹ Худая рожа – тяжелые роды.

³⁰ Черевинные – коренные, кутние.

Старуха раззявила перед Марьей свой большой, дурно пахнувший рот, показала голые белые десны. Марья брезгливо сморщилась, но все же заглянула в старухин рот.

– А ворожить умеешь?

– Ворожить умею, – не колеблясь созналась старуха. – Бог не простит мне на том свете, не отмолит мне сего греха.

– Как ворожишь?

– На бисере, на толокне, на черном шелке... По руке и по зубам. Могу на старой подкове... на воде, под Ивана Купала. Еще могу на рыбьем пузыре и курячьей косточке.

– А от дурного глаза отводить можешь?

– От дурного глаза – не могу.

Марья пристально посмотрела на старуху – в ее взгляде мелькнуло недоверие, но она подавила его в себе. Измученно откинулась на подушки, прикрыла рукой глаза.

Невидимой, чуткой подслушницей затаилась в спальне тишина. Тени по углам казались похожими на черных монахинь, сидящих на высоких стульях, так что головы их упирались в потолок, а ноги уходили куда-то под пол. В окошках все меньше и меньше оставалось света. Вечерело. На соборной звоннице Кремля ударял колокол – к вечерне.

Марья положила руку себе на живот, повернула голову к старухе:

– Скоро?

Старуха наклонилась над Марьей и тоже положила ей руки на живот. Марья вдруг вскрикнула, ударила старуху по рукам, что-то злое пробормотала на своем родном языке.

– Что с тобой, радость моя, государыня?

– Ты холодна, как змея!

Старуха сильней захватила Марью руками, строго сказала:

– Потерпи, радость моя. Добрые руки всегда холодны, а недобрые – горячи и цепки.

Она приложила ухом к Марьиному животу, затаилась, послушала что-то, одной ей ведомое, общупала Марью, снова приложила ухо, послушала, твердо сказала:

– Скоро, государыня.

– Когда?..

– Как Бог даст.

– Распознать можешь – кого рожу?

– Ежели первые три луны тяжело брюхатила – малец будет, а легко – девка. Да ежели йжу всякую лакомо ела – також на мальчика выйдет.

– Ступай!

Старуха ушла. Алена плотно притворила за ней дверь, зажгла свечи. В спальне стало светло, уютно. Темными, многоцветными переливами засветились на стенах ковры, зарделись золотые пиалы на трапезном столике, белым пятном проступило овальное булатное зеркало.

Рядом с Марьиной постелью на деревянных вешальницах висели ее царские одежды – тяжелые, шитые золотом и жемчугом; на невысокой подставке на алом бархате лежал ее царский венец, отделанный сканью и драгоценными камнями. Чуть подальше, под стенкой, на сундуках, лежали ее девичьи наряды, привезенные из Кабарды. Она больше не надевала их: Иван не любил и не терпел этого ее наряда, который напоминал ему о прежней Марьиной вере. Марья хранила свои девичьи наряды в сундуках, чтоб не раздражать Ивана и их общего духовника – протопопа Андрея, который грозил ей небесной карой за облачение в ее басурманские одежды. Но иногда, когда грусть и тоска начинали нестерпимо донимать ее, когда все, что окружало ее теперь, становилось ненавистным ей, она приказывала Алене доставать из сундуков свои девичьи наряды. Алена раскладывала поверх сундуков разноцветные шальвары, халаты

из персидского алтабаса, золотые нагрудники, тапочки, унизированные самаркандским баласом, с алмазными подвесками, сафьяновые ичетки³¹, пояса, браслеты...

Вселялась тогда в Марью давняя радость девичества, от которой уже навсегда отделили ее царский венец и нелегкая доля московской царицы, но которая еще оживляла в ней тепло-той светлых воспоминаний ее прежнюю доброту и ласковость. Преображалась Марья, успокаивалась, утешенная давнишними радостями своего еще не забытого девичества. Она как будто забывала на некоторое время о своей царственности, становилась веселой и проказливой, как девчонка: не мытарил мамок, не помыкала Аленой, дарила им подарки, кормила изюмом, играла с ними тайно в кости, выучившись этой игре у самого царя.

Только со временем все реже и реже приказывала Марья доставать свои девичьи наряды: ожесточала ее однообразная, затворническая жизнь, истомляли дворцовые палаты, темные опочивальни... Одиночество угрюмой сиделкой коротало с ней долгие дни и ночи, и все меньше и меньше радости приносили Марье ее воспоминания, и все равнодушной взирала она на свои девичьи наряды – они превращались для нее в простое тряпье, ненужное и никчемное, которое уже давно стоило бы выбросить, да почему-то не хватало духу.

Вот и нынче – с самого утра велела Алене раскрыть сундуки, а не повернулась, не глянула... Целый день лютовала, над мамками измывалась, хлестала их по щекам да выкрикивала проклятья на своем непонятном языке.

Алене жалко Марью, но она боится ее – не решается ни заговорить с ней, ни занять чем-нибудь... Да и страшно Алене быть одной с Марьей. Страшат ее жгучие Марьины глаза, страшит ее жгучий шепот... Алена крестится украдкой на образ Богородицы, сверкающий золотым окладом из святого угла... Взор Богородицы кроток, потуплен – она как будто не хочет видеть Алениных страданий, и от этого еще страшней становится Алене.

– Ежели помру, небось обрадуешься? – жестко выговаривает Марья.

– Бог с тобой, государыня!.. Пошто мне такой грех? Люба ты мне. Прикажи, смерть за тебя приму.

– Мамки уж непременно обрадуются...

– И мамкам ты любя... Кротки они, государыня моя.

– Ежели помру, государь в первую же ночь тебя под себя потянет!

– Господи Иисусе!.. – повалилась на колени Алена. – Государыня!.. Христом Богом заклинаю! Пошто страшное такое на меня накликаешь? Чиста я пред Богом, пред тобой, пред всем светом!

– Оттого и потянет, что чиста! Ты пригожа... А государь – мужик!

Алена стояла на коленях – бледная, с черными губами... За ее спиной затаилась Богородица: у нее Алена уже не решалась искать заступничества.

Свечи оплыли, но горели ярко. В спальне стало еще жарче: к ночи во дворце топили посылней. С улицы в стену хлестал ветер; иссеченные на множество ячеек слюдяные оконницы тихо погудывали от его крепких ударов, скрипели и стукали ставни... С вечера их затворяли, но нынче, видать, забыли, и теперь они будут бухать в стену, пока не разозлят Марью и она не вышлет Алену в темень, в мороз захлопывать их.

– Ты привела мне того человека? – вдруг строго спросила Марья.

– Привела, государыня. С полудня дожидается.

– Укрой меня и приведи его.

Алена укрыла Марью шелковым покрывалом, ушла в маленькую боковую дверь. Марья нетерпеливо покусывала край покрывала, всматривалась в темноту за дверью.

Алена ввела невысокого смугловатого человека в светлом мухояровом кафтане, перехваченном по талии черкесским ремешком; черная, с рыжиной, борода старательно умашена и

³¹ Ичетки – вышитые башмаки на мягкой подошве, без каблуков.

учесана, на макушке вышитая шелком тафья. Глаза хитрые, быстрые. Увидев Алену на свету, нахохлился, как петух, вцепился в нее похотливым взглядом, даже Марье забыл поклониться.

– Айбек, – с притворной ласковостью промолвила Марья. – Буде, ты увидишь меня и поклонисься?

– Прости, государыня! – низко и подобострастно поклонился вошедший. – Вели казнить! С темноты в свет – в глазах провал.

– Айбек, братья мои тебя жалуют?

– Да хранит их аллах, государыня!

– Забудь аллаха, Айбек, не то висеть тебе на вертеле, как барану. Христианин ты, Айбек, тебя русский поп крестил.

– Крестил, государыня... И крест на мне.

– Запомни, Айбек, нет у тебя иного Бога, кроме Иисуса Христа. И слушай меня... Подступи ближе.

Марья приглушила голос, почти шепотом стала говорить:

– Айбек, ты нашей крови, хоть и похож ликом на москoviта. Оттого я тебя и позвала. Исполнишь, что повелю, – получишь ее! – Марья кивнула на Алену, не отводя испытывающих глаз от Айбека; увидела, как шевельнулись у него ноздри, презрительно усмехнулась. – Пойдешь в город, на посад, станешь чернь на бунт подбивать. Подговаривай меня убить... Кремль спалить... А царем – иного крикнуть... Боярина Горбатого! Чернь к его подворью веди... Пусть кличут его царем. А ты слушай и смотри... Самых злобных замечай! А боярину в ноги кланяйтесь, зовите царем... Затаился, старый шакал! Да дрогнет в нем злоба, выйдет он к черни. А выйдет – беги тайно в Кремль, к Темкину, бери черкесов...

Марья закусила губу, сузила глаза, темные пятна на лбу и на щеках сильней проступили сквозь ее бледноту. Она трусливо и злобно прошептала:

– Царь мне спасибо скажет!

– А ежели чернь в Кремль попреет?

– Решетки на воротах опущены – не пройдут.

– На стены полезут.

– На стены не влезут. Стрельцы – на что?! И ты – хитро заманивай их на боярина, к нему веди... Самый ненавистный наш враг! Царь его и во сне поминает.

6

Над Москвой морозный ясный рассвет.

За Яузой из-за далеких белых холмов поднимается оловянное солнце.

На Москве-реке прорубщики пробивают затянувшиеся за ночь проруби: клубы пара вырываются из ледовых прорех, густым ворсом инея покрывают бороды, усы, шапки...

– Добря, братья! – перегукиваются прорубщики.

– Добря!

– Жгистый морозень!

На Ильинке, в церкви святой Татьяны, престольный звон. Старухи, молодки, боярыни с челядными девками и мамками, купчихи, дворянки стекаются на Ильинку со всех концов Москвы, чтоб поклониться своей тезоименинице Татьяне.

Бабий праздник: бабы разряжены, нарумянены, чопорны... Именинницы раздают нищим гостинцы, деньги.

Посадская детвора гурьбой гоняется за боярскими санями, на шеях у них висят сумки, куда они складывают доставшиеся им подарки. Боярыни щедры: бросают детворе пряники, калачи, яблоки... Нищим боярыни раздают одежду. Галдеж стоит возле боярских саней: нищенки рвут друг у дружки барские обноски, ссорятся, дерутся... Боярыни унимают их, да

где там! Они и на боярынь наскакивают, хватают за полы, за рукава – вот-вот постаскивают с боярынь и то, что надето на них.

На паперти зыкастый пономарь продает четки, нательные крестики, маленькие наперстные иконцы и складни с ликом святой Татьяны.

– Матери и щери!³² – зычно, с привздохом, выстрадывает он. – Иже не минете святой прудажи, ино минут вас беды и напасти!

У пономаря рыжая с прочернью борода, рваные ноздри, – видать, за какой-то давнишний разбой, – поверх доброй камлотной рясы старый, замызганный зипунишко, на ногах бурые еще от летней пыли каржаки. Левой рукой пономарь скребется в бороде, в правой – связка крестиков, иконок, складней. Он сует их под нос каждому, кто приближается к нему, настырничает, угрозливо бубнит:

– Полденьги четки, полденьги крест. Матери и щери!

По другую сторону паперти – другой продавец, торгующий свежесдобренными калачами и курбышками³³. Он кричит, перекивая и забывая пономаря:

– Калачи, курбышки! Малыши, да хороши! Помяните Татьяну не спяну, а хлебом насущным!

Над всем этим гомоном висит тяжелый перегуд колоколов. По куполам скачут резвые солнечные зайчики – оранжево-золотистые, слепящие... Над угрюмым, черным Кремлем целое зарево: горит золото на Архангельском, на Успенском, на Благовещенском... Кремлевские стены и стрельницы упорошены свежим снегом – черное с белым делает их еще суровей. Кремль кажется мертвым, пустым, брошенным. Ничто не выдает его затаенности, только черные зраки пушек зорко и настороженно следят из узких бойниц за оживающим городом.

От Бронной слободы потянуло дымом – кузнецы вздули горны. От басманников дохнуло крутым горчичным запахом свежесдобренных дрожжевых хлебов.

Пахло прогорклой прелью сырых березовых дров, снегом, зимой... Ветер смешивал запахи, разносил по городу.

На торгу текали топоры. Чуть свет начали они свой перестук – не часто, не громко, словно таились. Сава-плотник с артелью ставил Фетинье новую избу.

Торг оживал: открывались крамарни, лавки, заезжие купцы расторочивали возы, зачинали торговое дело.

Люду прибывало. Всяк, кто оказывался на торгу, перво-наперво шел поглазеть: что за дело учинилось, отчего вдруг застучало на торгу топорье? Преминуть, не узреть – не в обычае русского человека. Все обойдет, все обсмотрит, на ус наматает – купить не купит, а любопытство свое ублажит.

Дотошные перешушукивались, ехидно прицокивали языками, гадали: отчего это Сава, сам Сава, да еще зимой, избу взялся рубить? Аль нет ему иной работы – посложней да подороже? Царские хоромы рубил да божьи храмы, теперь Печатный двор на Никольской ставит, а тут с простой избой порвется, которую любой топорник, без Савинога снорову, за пять ден поставит.

Заядлые насмешники затравливают Саву, тянут его на разговор:

– Эй, Сава, уж не Фетинье ли новую избу под кабак ладишь?

Сава молчит, дуется, да только шила в мешке не утаишь.

– Такой бабе и чавой-т иное сладить не грех!

– Гляди, Сава, женкой станет, всю жизнь у ее поститься будешь! Красуни привередливы!

– Ды ему на что иначе? – выкрикнул кто-то весело и глумливо. – Ен не перекорил ее своей мужьей силой!

³² Щери – дочери, то есть дочери.

³³ Курбышка – небольшие хлебцы.

Не вытерпел Сава, оставил тесло. Понял, что не отмолчаться, не удержать тайны – все равно обо всем дознаются и разнесут по Москве его позор да еще приплетут невесть что, чего и не было вовсе. Он потарасил глаза на толпу, будто не она дивилась на него, а он на нее. Сколько рож, и каждой, поди ж ты, потешно и дивно – и все только оттого, что он, Сава, сидит на бревне и тюкает по нему топором. Саве и самому стало весело.

– А что, православне?! Коль задницу покажу, хохотать аль креститься учнете?

– У тебя задницы-то! – засмеялись в толпе. – У нашего попа морда больше!

...Сквозь толпу продирался Рышка Козырь. Расталкивал, распихивал, матерился, кое-кому и по загрывку съездил! Продравшись наконец наперед и увидев Саву, громко и вызывающе сказал:

– Эй, Сава! Се я, Рышка Козырь! Небось знашь такова?

– Чём не знать?!

– Пришел я потроха с тебя повымать да на те крюки, куды ты кобелей цеплял, поцепить.

– Диво варило пиво! – выставился Сава на Рышку. – Слепой увидал, безногий с ковшом побежал, безрукий сливал, ты пил, да не растолковал!

– Аль отпираться станешь? Так я живо тебя в память введу!

Рышка подступил к Саве, показал ему свои здоровенные кулаки.

– Ох и еборзист ты, Козырь! – Сава вскинул на плечо топор, сплюнул через губу, засмеялся: – Пошто отпираться? Не в нашей породе ховаться в чужом огороде! Коли пришел на кулачки звать, так зови. Здыбамся мы с вами! А буде, ты один засобрался супротив нас встать? Так то нам не в честь!

– Ух ты, не в честь?! – удивился Рышка. – У собаки чести – клок шерсти.

– А кобелю и того не взвелю!

В толпе засмеялись, загукали:

– Ай да Сава! Ну и хват!

– Уходи, Рышка! Заговорит тебя Сава – умом тронешься!

– А ну! – гыкнул в толпу Рышка. – Погомоньте ишо, быдлаки кривопузые!

Рышку боялись: толпа позатихла, только кто-то, самый отчаянный, еще крикнул:

– У самого-т утроба по земле волочится! Копной набит, в кожу зашит!

Рышка выскалил глаза, напыжился, неуклюже, по-бычьи, двинулся на передних.

– Тикай, людя! Боров взъярился!

Шарахнулись кто куда.

– Видал?! – совсем уже без злости, ублаженный и потешенный, сказал Рышка Саве. – Все мене бояться! Потеперь вам в честь?..

– Супротив тебя единого – никак не в честь! Верно баю, братя? – оборотился Сава к своим артельщикам.

– Верно, – прогудели артельщики. – И верх наш, и срам наш.

– Ставим сотню супротив вашей сотни, – сказал Сава.

– Эге ж!.. – осклабился Рышка, поприкинул что-то в уме, прищурился на Саву, кинул шапку наземь. – Горазд!

Кинул шапку и Сава.

– Эх жа и потешимся! – просипел он и толкнул Рышку в бок. – В неделю³⁴, на Кучкове.

Рышка добродушно присоветовал:

– Проть мене не становись. Угроблю!

³⁴ Неделя – воскресенье.

По Москве, быстрее, чем самая добрая или самая худая весть, разлетелся слух о предстоящем кулачном бое между мясницкими и плотницкими.

Плотницкие были самыми заядлыми на посаде. Вечно они завязывали драки и потасовки, буянили спьяну, сквернили и досаждали соседних уличан. За это их недолюбливали на Москве и потому тайно злорадствовали, что наконец-то плотницких проучат, выбьют из них спесь и дурь.

На торгу ворчали, что воскресной торговли не будет: все уйдут смотреть бой. Иногородние купцы, наоборот, были довольны: они хоть и теряли воскресную торговлю, зато могли своими глазами увидеть знаменитый московский здыб. По всей Руси славились московские кулачные бои. Нигде больше не могли так ярко, упорно и красиво биться, как на Москве. Тверичи начинали с кулаков, а заканчивали дрекольем, новгородцы доставали кистени, псковичи всегда хитрили – то прятали в рукавицы свинец, то ладили на грудь и живот защиту. Лишь в Москве бились начестно, без кистеней и без свинца в рукавицах, бились до конца, покуда какая-нибудь сторона не отступит или не сляжет начисто на землю.

На Москве ждали этого боя, как праздника: давно не тешились москвиты таким зрелищем.

Всю неделю канителились мужики на ремеслах. Как после похмелья, не охотилось им и не ладилось ничего у них. Басманники даже хлеб с недопеком пекли – перекислый и невкусный, кидали его собакам, но басманников не корили. Мясницким и вовсе не до убоя и не до торговли было. Проходу им не давали: одни подзадоривали, другие с советами да поучениями лезли, а иные просто валандались следом от нечего делать, наматывая на ус сплетни и новости.

Мясницкие были сдержанны, не бахвалились, не грозились. Один только Рышка не мог унять в себе гонора, но и ему под конец надоела трепотня, унялся и он. Зато плотницкие похвалялись на каждом углу, что уложат наземь неодолимых мясницких.

Сава всю неделю кутил в кабаке у Фетиньи и хвастал, что против Рышки сам станет. Хвастать Саве, как с горы катиться, – знали это и артельщики, и все плотницкие, но хвастовство Савино подхлестывало их, раззадоривало, рвали они во хмелю рубахи и грозились разнести чуть ли не всю Москву.

На Ильинском крестце³⁵, у Покровского собора, где в обычай собирались безместные попы, как бы вперекор похвальбе плотницких, поп Авдий, сводный Рышкин брат, вещал таким же, как и сам, безместным попом:

– Будет вборзе благоденство, святые отцы! Да изыдет язык мой из гортани моя, аще не сбудется, яко реку вам! Будут отходные, будут и накладные!

– Дал бы Бог! – крестятся отошавшие, давно скитающиеся без заработка попы.

– Будет, реку аз! – утешал их Авдий. – Рышка сам дюжину упростаёт. Буести в ем, святые отцы, яко в аспиде! Понесут на погост покойничков – будет вам и ядь, и питие, и камлот на ризы.

– Дал бы Бог!

Даже выселские из Заяузья и посадские из Занеглименья утихомирились и перестали кричать на торгу, что царь бросил Москву татарам. В предвкушении таких страстей они забыли обо всех своих страхах и радовались со всеми вместе царскому отсутствию.

Взбудоражилась Москва. В душе каждого москвиты заметалась разгульная смута – дерзкая, настырная... Захотелось им подержать волю, похорохориться, попротивиться! Царский

³⁵ Крестец – перекресток.

запрет только раззадоривал и сильней распял страсти. Всех проняло ликование, и не столько от предстоящего боя, сколько оттого, что идут наперекор царю.

Темкин знал об этом наваждении, охватившем городской люд. Доносили ему послухи обо всем: о разорном деле и грабежах, о разгуле посадских, о страстях на торгу и криках на площадях...

Трудно удержать город в узде с сотней черкесов. Понимал это Темкин, потому и не вмешивался, выжидал. Да ему и самому до оторопи хотелось посмотреть на бой. Горела в нем кровь истинного московита, опрометчивого и завязатого, одной рукой молящегося Богу, а другой заигрывающего с чертом. Не мог он, даже под страхом царской опалы, отказать себе в таком удовольствии. Ведь может статься, что больше не случится на Москве кулачной здыбки: царь не простит порухи своего указа и правезом, а то и плахой отучит от буйной игры.

Всю неделю не выезжал Темкин из Кремля. Сидел в думной палате, разгоряченный, изнывающий от нетерпения, жадно прислушивался к разговорам подьячих и писцов, похвалявшихся друг перед другом разными новостями, Бог весть где подхваченными ими.

Мстиславский с укором поглядывал на окольного, нет-нет да и затрагивал его:

- Непокойно на Москве... Гляди, окольный, сыщет с нас царь за всю смуту.
- Семь бед – один ответ, – хитро посмеивался Темкин.
- Управил бы смутьянов...
- Всю Москву не управишь, боярин... Перебесятся – усмирятся.

8

Занудилась Москва за неделю. Еле-еле дожила до субботы. В субботу к вечерне пошли одни бабы. Мужики не решились предстать перед Богом, собираясь на греховное дело.

На Мясницкой рано погасли лучины, опали дымы над избами... Тихо, выморочно на Мясницкой, только сторож у рогаток поскрипывает промерзлым снегом.

У плотницких на улице тоже тихо. Перебесились за неделю, переерепенелись. Не с легкой думой залегли на полати. Не спится многим... Скребется в душу тревога, как собака в сени с мороза. Только отступать поздно. Побитых ожалостят, а струсивших ославят, по гроб пальцем тыкать будут и подсмеиваться. Так уж поведено на Руси!

Студено. Ветер всю ночь перекачивает с места на место сугробы, полощется белыми холстинами крыш, кадит в небо, в лунную стынь, снежным дымом. До самого утра, как застигнутый ненастьем путник, хранит город тревожную угрюмость.

Утро взбадривает город. В крутых изломах низких туч еще клубится темнота, а по Сре-тенке уже тянется люд. Идут на Кучково поле. Кто побогаче – тот верхом или в санях: ходить пешком богатым неприлично. Перед пешим никто и шапки не снимет, не поклонится...

Промчались боярские сани. Чуть погода – другие.

– Стерегись! Подомну!

Хлястнули по кожухам жильные батоги – вжались головы в плечи. Кому досталось – оторопело ругнулся, кому не досталось – сочувственно поддакнул пострадавшим, прошелся по боярским косточкам...

– Ишь, богатины пеньтюшковые! Тоже прут... Подай и им теху!

– Эх, кабы хоть раз в рожею богатынну схлендать!

– Гляди, чего схотел! А засекут?!

– Пушшай!

– А пушшай, так схлендай! И за нас тожа! Свечку скопом поставим.

На Кучкове, по всему урочищу, – люд: конные, санные, пешие... Толкутся, пыхтят в заиндевелые ворота, подсигивают – мороз дерок, прозябнет. По урочищу, и крутя, и вдоль,

метет поземка, вдирается под нестеганные ферязины да зипунишки. Худо тем, у кого ни шубы, ни кожуха. Но не уходят, тиснутся в гущу, мнут ногами разрыхленный снег.

Сугробы вокруг растолкли, а посреди урочища снег не тронут, целина.

Поп Авдий, торжественный, как на литургии, взывает к окоченевшей толпе:

– Миряне! Не стойте, яко древа в лесу сатанинском! Сыдите с мест своих облюбленных и прошествуйте семо и овамо³⁶ вослед мя, яко же шествуете вослед Господа нашего!

Авдий, подхватив руками ризу, широко, как на ходулях, пошел по глубокому снегу. Вслед за ним, безмолвно и угрюмо, двинулась толпа. Измученные морозом люди послушно шли за попом, охотно шли – ожидание изнурило их так, что они готовы были и боком катиться по этому полю.

Пройдя из конца в конец, Авдий остановил толпу, воздел руки к небу, как апостол, и возгласил:

– Чада мои возлюбленные! С Божьей помощью оборотимся вспять!

Снег на урочище взмесился, поумялся, но все равно его было много.

Авдий сокрушенно вздыхал:

– Худо, братися...

Сходились мясницкие. Чуть поодаль от них гурбились плотницкие. Их собралось уже с полусотню. Сава был среди них – верховодил.

От Рождественки через урочище легкой рысью шла тройка. Следом за ней трое верховых.

В толпе узнали буланую тройку боярина Хворостинина – никто больше не держал на Москве буланных, – узнали и троих его сыновей. Всегда и всюду неотступно, как стража, сопровождали они своего именитого отца. Всей Москве пригляделись Хворостинины этим своим обычаем. С первого взгляда узнавали их.

– Гляди, Хворостинин!.. С боярчуками!

Толпа задвигалась, удивленно зашумела.

– Никак сам?!

– А то!.. Вон, в санях, в вильчуре³⁷.

Было чему удивляться: почитай, год, а то и все два не видывали на Москве Хворостининых. Уж и забывать о них стали. Старый боярин хворал, каждый день смерти ждал. Сыновей неотступно около себя держал, боясь помереть не на их глазах. В Чудов монастырь вклад сделал на помин своей души, грамоту духовную составил – совсем к смерти приготовился, а услышав от сыновей про кулачный бой, велел везти себя на Кучково.

– В последний раз перед смертью хочу поглядеть, – сказал он сыновьям. – На том свете такого не увижу.

Буланая тройка развернулась... Кони, отвыкшие от узды, норовились, не хотели стоять. Младший из братьев, Петр, спешил, стал успокаивать лошадей, ласково похлопывая их по очерившимся мордам.

Поп Авдий подошел к саням, широко, щедро перекрестил боярина:

– Божьей тебе благодати, боярин! Яко честь велию приимут черные и незнатные се твое обретание здесь!

– Как молодцы? – тихо и вяло спросил Хворостинин, но глаза его прояснились, будто высветились изнутри, по бледным щекам скользнул легкий румянец.

– Молодцы, боярин, яко жеребцы! Вожжу под хвост – и на прыть!

– Пушай начинают...

– Ежели собрались с духом – учнут, боярин!

– Поторопи...

³⁶ Семо и овамо – туда и обратно.

³⁷ Вильчура – волчья шуба на выворот.

- В таком деле поспеха – не утеха, боярин.
- Боюсь, помру, – тихо вымолвил Хворостинин.
- Аз буду молить Бога, боярин, не призывать ты в сей лепый час!

Окольный Темкин, стоявший в толпе переодетым в одежду стрельца, чтоб не быть узнанным, видел, как подкатили сани Хворостинина, и в душе беззлобно ругнул боярина: «Ишь, старый потешник!.. Уже двумя ногами в могиле, а туда же!» Ему захотелось подойти к больному боярину, сказать ему что-нибудь доброе, хорошее – он вдруг почувствовал невольную близость к нему, рожденную их общей страстью, которая, как заговор, соединяла их сейчас, – но сдержался: не хотел выдавать себя. На него и так уже подозрительно поглядывали, особенно стрельцы, которых, конечно, удивляло, что он держится особняком, отдельно от них. Знали бы они, что это не загордившийся их собрат, а сам окольный Темкин – духу их не было бы на Кучкове.

Темкин поглубже натянул шапку, полез в передние ряды.

На поле вышли бойцы. Сотня с одной стороны, сотня – с другой. Поскидали шубы, кожухи, кафтаны...

Толпа напряженно молчала. Ждала. Впереди всех стоял поп Авдий, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Неподалеку стояли и другие безместные попы, сгрудившись небольшой кучкой, – мертвенно-бледные от холода, со смерзшимися бородами, неподвижные, напряженные... Даже пар от дыхания не вился над ними – затаенно, почти не дыша, ждали они начала боя.

Бойцы стали двумя рядами – в сажени друг от друга, натянули рукавицы.

Сава стал против Рышки. На всю Москву хвалился, теперь перед всей Москвой и исполнял свою похвальбу.

– Зря ты, Сава, – опять по-доброму сказал ему Рышка. – Угроблю я тебя.

– А ты меня не стращай! – угрюмо съязвил Сава. – Небось брюхо не толкном набито – пробью!

– Ну, Сава, – уже по-настоящему пригрозил Рышка, – теперя держись! Эй, братя, – крикнул он своим, – взяли их!

Кто-то негромко сказал:

– Господи, поможи...

Ряды сошлись. В напряженной тишине глухо раздались первые удары и первые стоны.

Рышка прицелился Саве в грудь, изловчился и изо всей силы выстрелил кулаком. Даже зубы клацнули у него. Сава вертко откинулся в сторону, вжался головой в плечи – Рышка только обдал его своим жарким дыханием и со всего маху, тяжело, как подрубленное дерево, рухнул на снег.

– Ух ты, боже мой, – испуганно перекрестился Авдий, увидев, как завалился Рышка.

Попы за спиной Авдия дружно глотнули морозного воздуха. Из толпы отчаянно выкрикнули:

– Рышку завалили!

– Вставай, братушка! – дрожащим голосом прокричал Авдий.

Рышка поднялся, растерянный, беспомощный, с залепленным снегом лицом... Сава подскочил к нему, быстро саданул в грудь – раз, другой... Рышка протирал глаза. Сава еще раз ударил его. Рышка даже не пошатнулся, только поискал Саву рукой, как слепой, и сплюнул набившийся в рот снег.

В толпе захохотали. Кто-то по-деловому присоветовал Саве:

– В дышло его!

Сава снова подскочил к Рышке, но тот уже протер глаза. Сава наткнулся на его кулак, как на стену: взметнул головой и осел. Рышка перешагнул через него, пошел искать достойного себе.

На снегу уже валялось несколько человек. Скорчившись от боли, они отплевывались кровью и как-то совсем не по-человечески, глухо стонали. У одного горлом шла кровь. Он все отползал, отползал от бьющихся, отрыгивая на снег загустевшие красные комки, но отступавшие под напором своих противников плотницкие смяли его, затоптали...

А на другом краю туго приходилось мясникам. Фролка Ечев уложил уже троих, и теперь с ним завязались сразу двое, но и они не могли ничего поделать с ним: дюж был Фролка – самый сильный среди плотницких. За силу только и держал его в своей артели Сава. Топором Фролка мало что мог, но где требовалось поддержать или поднести, тут он стоял за пятерых.

Рышка пробрался к Фролке, ехидно крикнул:

– Ай, молодец ты, Фрола!.. Да проть овец!

Наседавшие на Фролку мясницкие отступили, оставили против него Рышку. Рышка изготовился, вытрещился для пущей остратки, глумливо спросил:

– Не боязно, Фрола?

– Дык с чаво?.. – равнодушно пробасил Фролка. – Бей первой. Не свалишь – я вдарю.

– Горазд, – крякнул Рышка.

Фролка прочней поуставил ноги, напряжился.

– Не, – раздумал Рышка. – Бей первой ты.

– Схитрить хошь? – усомнился Фролка.

– Злости нет на тебя покуда...

– У мене також нет, а вдарю... Стань-кось сподручней и не дыхай, не то дух сшиблю.

Остальные бойцы, и плотницкие, и мясницкие, еще немного помахали кулаками и прекратили бой. Все стали смотреть на Фролку и Рышку.

Фролка ударил первым – чуть-чуть неуклюже, но тяжело, всем телом, будто споткнулся обо что-то и со всего маху полетел на Рышку.

– О-о! – с восторгом и ужасом выдохнула толпа.

Поп Авдий зажмурился, втянул голову в плечи – будто не Рышку, а его саданул своим громадным кулачищем Фролка.

Кто-то из попов за спиной Авдия запричитал:

– Святый Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас...

Рышка устоял, только лицо его сперва потемнело и стало влажным, будто кто-то плеснул в него водой, а потом вдруг зашло такой бледнотой, что даже Фролка испугался.

– Жавой ты, а? – спросил он растерянно и тревожно, с боязницей заглядывая Рышке в глаза.

– Эге ж... – продохнул Рышка и беспомощно болтнул руками.

– Тады – твой черед!

– Погодь чуток, – пробурчал угрюмо Рышка, болезненно вдыхая и выдыхая крутой морозный воздух. Глаза его расширились, в уголках губ проступила густая слюна.

– Не спущай ему, Рышка! – завопили из толпы.

– Уложи кривомордого!

Рышка подступил к Фролке. Фролка улыбался.

– Ишо зявится! – не унимались в толпе. – Суй ему в дышло!

Рышка ударил Фролку под ребра, в мягкое... Хекнул Фролка – с надрывом, до хрипоты, будто и горло у него вывернулось, – отлетел сажени на две, поскользнулся, повалился в снег.

Толпа зарычала, как громадная свора собак. Рышка довольно покрутил кулаком. Он думал, что Фролка не поднимется...

Но Фролка поднялся. Отряхиваясь от снега и поохивая, он подошел к Рышке.

– Разе ты Боров? Ты – бугай, – сказал он сквозь зубы, но вовсе не от злобы, а от боли. – Всю нутрю расплющил.

– От второго боя помрешь, – надменно протянул Рышка.

– Второй-то – за мной... Гляди, сам не устоишь.

– Спробуйся, спробуйся... Твой черед.

Мясницкие, плотницкие, только что дубасившие один одного, теперь стояли попеременно вокруг Рышки и Фролки и подбадривали каждый своего. Приковылял и отклягавший Сава. Он сипел еще сильнее, но все равно старался перекричать всех:

– Не спущай яму, Фрола! И за мене наподдай! И за мене!

Фролка услышал Савин сип, обернулся к нему, виновато улыбнулся.

– Ражий бугай, – как бы оправдываясь, пробасил он, шуря на Рышку свои маленькие глазки и медля с ударом. Думал: вступятся, разведут их, но плотницкие оголтело заорали, замахали руками, и отчаянней всех Сава:

– Не спущай яму, Фрола! Сади какомога!³⁸

Мясницким тоже не хотелось видеть Рышку побитым или отступившим, и они гвалтовали не менее плотницких:

– Норовей, норовей, Рышка!

– Круши ему костю!

– Пушай заранее на поминки сзывает!

– Круши! Знал чтоб, проть кого ставать!

– Не мори, Фролка, – нетерпеливо сказал Рышка. – Народ, вишь, еборзится. Давай в свой черед. А жли нет мочи, сьмай перщатые³⁹ с рук.

– Ну пошто?.. – не очень бойко встал за себя Фролка и, если б Сава снова не крикнул ему, может, и снял бы рукавицы.

– Сади, Фрола! – сипел тот чуть ли не в самое ухо ему. – Сади, родимай! Кончай яво! Медок Фетинья сытит!

Рышка устоял и от второго удара, только сильнее выпучил глаза и шире раскрыл рот, мучительно сисясь сделать вдох.

И мясницкие, и плотницкие замерли. Замерла и толпа. Все напряженно ждали – что будет дальше? Выдержит ли Фролка второй Рышкин удар или свалится, не устоит, отступится?

Снова улетел Фролка в снег – еще дальше, чем после первого удара, но снова поднялся и, скорчившись, подковылял к Рышке.

– Помираю, – сказал он глухо, утробно. Маленькие его глазки еще глубже запади под лоб, по щекам катились слезы.

– Фрола! Фрола! – бесновался Сава, хватая еле стоящего на ногах Фролку за руку и подтаскивая его поближе к Рышке. – Не спущай яму! Не спущай ни пошто! Фрола, родимай!.. Вся артеля на тебя глядит! Поглянь, родимай, вся Москва глядит! Ободришь, ободришь, Фрола... Не спущай яму, Борову мяснитоуму!

– Помираю, Сава, – взмолился Фролка. – Нутря вся расшиблена.

– Ободришь, ободришь, Фрола! Твой бой!

Фролка уступил Саве. Не мог он ему противиться, чтоб не заимел Сава на него обиды или зла и не прогнал из артели.

Собрался Фролка с духом, подступил к Рышке, размахнулся, ударил. Но не было уже в его ударе прежней силы – только откатнулся Рышка, отступил на шаг и спокойно сказал:

– Не встать тебе боле, Фролка. Чуешь, не встать.

Фролку везли на санях через всю Москву. Как положили его в сани со скрюченными на груди руками, поджатыми ногами и запрокинутой головой, так и застыл он на морозе.

Плотницкие и артельщики понуро брели следом за санями. Еле передвигая ноги, угрюмый и озлобленный, брел Сава. Не совесть донимала его, а злость и досада – злость и досада,

³⁸ Какомога – изо всех сил.

³⁹ Перщатые – перчатки, которые в Древней Руси назывались рукавицы перщатые.

что не устоял Фролка против Рышки, что теперь на все лады будут поносить его, Саву, и больше всех, даже больше Рышки, винить в смерти Фролки.

Из дворов выбегали дети, бабы, выковыливали старухи – слух уже разнесся по городу, и теперь всяк спешил удостовериться в услышанном. Шли вслед за санями, причитали, охали, заглядывали в окаменевшее Фролкино лицо, будто хотели что-то высмотреть под его мертвенной бледной кожей.

– Выла собака надясь – к земле головой...

– Вот уж истинно: воеет к земле – быть покойнику.

Сава с трудом переносил это любопытствующее сострадание. Не опасайся он нажать дурную славу и ненависть к себе, напустился бы он на всех этих причетчиков с матом и бранью, разогнал бы их по дворам да пустил коней рысью, чтоб не собирать возле саней никого. Ни артельщики, ни плотнички не затрагивали Саву – шли чуть поодаль от него, молчали. Только поп Авдий настырно шагал рядом с Савой и время от времени скорбно, но твердо повторял:

– Отпою, яко убиенного на поле брани.

...Рышка поставил в церкви Святого Фрола на Мясницкой алтынную свечу за упокой убиенного им раба божьего Фрола и отправился с повинной в Разбойный приказ.

Глава пятая

1

Из Великих Лук прискакал к Марье брат ее – Михайло, посланный царем с наказом узнать о ее здоровье и передать ей от него оловянный нательный крестик. Этот крестик в пору своей первой беременности носила мать Ивана – великая княгиня Елена. Оберегала она им своего первенца и свято верила после, что он потому и удался таким крепким и здоровым, что благодаря этому крестику был избран Богом, сохранен и отмечен им. Верил и Иван в чудодейственную силу этого крестика. Посылая его теперь Марье, как когда-то Анастасье, Иван надеялся, что Бог обратит свой взор и на его наследников, даст им сильную душу и крепкий разум, дабы могли они достойно продолжить его род и его дело.

Михайло прискакал в Москву в полдень. Часа три дожидался, пока Марья поднимется с постели, сидел в задней брусняной горнице и потягивал вино, а когда был позван, явился изрядно пьяным, угрюмым и опять потребовал вина.

Марья не допустила его к руке, но вина приказала подать.

Михайло уселся на полу, под стенкой, – на ковре. Между ног кувшин с вином, в ленивых уставших глазах не то тоска, не то злоба... Недалеко от него, на маленькой узенькой лавчонке, примостился дворецкий – боярин Захарьин-Юрьев. По московским обычаям царица не могла оставаться наедине в своей спальне даже с родным братом.

В спальне было светло. В двух серебряных шандалах горела дюжина свечей. Сладко пахло расплавленным воском, вином и шафраном.

Молчали – как будто не замечали друг друга. Михайло угрюмо потягивал из кувшина вино, Марья растерянно перекладывала из руки в руку крестик, не зная, что с ним делать: то ли надеть на себя, то ли отложить в сторону, а Захарьин с доброватой улыбкой, но очень внимательно следил за ними, будто сторожил их.

Захарьин уже был немолод, но еще крепок и бодр. При всей своей доброте и мягкости он оставался хитрым и ловким царедворцем, обладал тонким умом и спокойным нравом, без чего трудно было жить и распоряжаться в царском дворце.

Царь любил его, доверял ему. Любил его и простой московский люд: слободчане, посадские, торговые люди, за которых он всегда радел перед царем. Зато бояре, особенно княжата, лютой ненавистью ненавидели его, как, впрочем, и весь род Захарьиных... Однако, как ни изощрались бояре и княжата в своей ненависти к нему, он никогда не использовал свою близость к царю для мести им. Быть может, благодаря этому и заслужил искреннее и неизменное уважение Ивана.

Поладил Захарьин и с Марьей, хотя та довольно ревниво относилась к его родству с покойной Ивановой женой, и братья ее, Темрюки, тоже не больно жаловали его, но сносили, терпели, зная царское к нему расположение.

Михайло и сейчас уткнулся в кувшин только потому, что в спальне сидел Захарьин. Не будь его, Михайло нашел бы, о чем поговорить с Марьей. Теперь же молчал – и назло Марье, и назло Захарьину, только боярина не больно задевало молчание надменного царицыного братца: привык, да и знал он, что рано или поздно станут Темрюки искать с ним дружбы, оттого что не они, а он стоит близко к царю.

Марья же сейчас больше думала о крестике, чем о своем непутевом братце, а это еще сильнее раздражало Михайлу.

– Надень! – сказал он глухо и тоскливо поморщился. – Государь будет недоволен, ежели ты воспротивишься.

Марья надела крестик на шею – осторожно, словно ее сдерживал какой-то страх. Глаза ее расширились, она напряженно уперлась руками в лежащие вокруг подушки и долго сидела так, неподвижная и отрешенная. Отсветы свечей ложились на ее лицо, усиливали его бледноту, отчего оно становилось как бы прозрачным, почти невидимым, словно растворившимся в теплой яркости света. Только одни глаза проступали сквозь эту бледность – большие, чуткие, как два насторожившихся пса.

– Сумрачишься, государыня? – тихо сказал Захарьин.

Михайло хмуро, из-за плеча, скопился на него.

Марья будто не услышала слов боярина – осталась неподвижной и отрешенной.

– Печалишься, что за русского царя пошла? – снова сказал Захарьин. – В Шемаху или Турцию, поди, сносней было бы?.. – Голос его был мягким, осторожным. – На Руси оно суетное житье.

– Недобрые твои слова, боярин, – спокойно ответила Марья. Рука ее легла на грудь, прикрыла крестик. Она опустила голову, с хрипотцой – от сухоты в горле – договорила: – С царем я Богом соединена. Негоже мне сетовать на Божий приговор. А душа моя с его душой срослась: ему больно – мне больно.

– И то верно, – обрадованно вздохнул Захарьин. – Не изволь гневаться... Буде, и пустое сболтнул, да твоей бабьей чести сие не ущербно.

– Царица она! – закипел Михайло.

– Царица – все едино баба, – мягко, примирительно сказал ему Захарьин.

– И сестра мне! – еще яростней выкрикнул Михайло, хватаясь за кинжал.

– Не затевайте распрь! – недовольно бросила Марья.

– Не злись, княжич, – все так же мягко и примирительно сказал Захарьин. – Пошто нам, будто собакам, один на одного скалиться?!

– Марью не обижай! Царица она!

– Ее мы любим... Анастасья, та добра была, а царица никудышная.

– Помру, и про меня тако скажете! – кольнула Марья боярина острым взглядом.

– За ум почитаем тебя.

– Коль баба я, какой у меня ум?

– Аглицкая королевна – також баба, а государством своим вон како правит! Баба бабе рознь! Анастасья все по монастырям ездила, молилась, Бога умилоствляла. Ан не дал он ей жизни... Рано померла.

– Слыхала, ядом ее опоили?

– Буде, и ядом, – спокойно ответил Захарьин. – Доподлинно сие неведомо.

Свечи оплыли, стали короче... Свет их не доставал уже до потолка, и оттуда посвисли густые лохмы теней; окна пугающе поблескивали – черным, как будто чьи-то пронзительные, злобные глаза. Откуда-то лезли противные шорохи...

Марья плотней завернулась в широкую шелковую накидку, глухим, сдавленным голосом проговорила:

– Страшно... Враги кругом... Яду подсыпят... Змею пустят... Страшно!

– Страхом врагов не укротишь, – буркнул Михайло.

Марья смолчала: думала о своем.

Захарьин тоже задумался. Вспомнил он, с какой мучительностью уступал Иван Анастасьиной добродетельности. Мрачнел, озлоблялся, но уступал: не хотел раздоров в своей семье, не хотел, чтоб еще и жена затаила на него зло.

Не раз пытался Захарьин уговорить Анастасью не лезть со своей бабьей жалостью в Ивановы дела, да где там! И слушать не хотела. До самой смерти связывала ему руки своей добродетельностью и, умирая, просила не быть злым и несправедливым. Обещал он ей – умирающей, но выполнить своего обещания не мог. Быть добрым и справедливым – значило отказаться

от всего, что задумал он, что хотел сделать и утвердить своей волей и властью. А задумал он много! Видел Захарьин, как широко замахнулся он, порешительней деда и отца взялся ломать исконное.

Теперь Иван был волен в своих намерениях и поступках. Ни один из них, как бы жесток и безрассуден он ни был, не вызвал бы в Марье осуждения или несогласия.

Захарьин почувствовал на себе Марьин взгляд. Марья в упор смотрела на него, словно ждала чего-то...

– Шепни царю: верными людьми пусть окружит себя, – сказал Захарьин, твердо глядя ей в глаза. – Не родовитыми, не богатыми, чтоб, окромя благополучия царского, не было у них иной заботы.

– Слушать меня ли станет?

– Станет. Люба ты ему. На ложе возлежишь с ним, тогда и шепни.

– Пошто же сам не шепнешь? – ехидно пробурчал Михайло.

– Молод ты, княжич, – невозмутимо промолвил Захарьин и даже бровью не повел на него. Смотрел на Марью – улыбочато, с лукавством сообщника. – Жениться тебе надобно... Будь ты женат, мои слова по-здравому принял бы и не ехидился надменно. Русь – не Кабарда, запомни сие накрепко. На Руси кинжал – не оружие.

– Плутводство – на Руси оружие?

– Терпение и преданность делу, которому служишь.

– Какому же делу ты служишь, боярин, научая царицу Бог весть чему?

– Мы все служим единому, княжич, – царю. Правда, всяк по-своему...

– Я честно и преданно служу царю, а не по-своему, – сказал с вызовом Михайло.

– Всяк так – на словах. А на деле? Каждый о себе лишь печется: как поболее урвать да другого втоптать под себя... Где уж тут о службе царю думать, в суете-то такой, в грызне? Где уж тут о деле его радеть?

Захарьин вздохнул и смолк, и это молчание вдруг насторожило Михайлу: знал он за собой грешки и напугался, что Захарьин, ведавший все и обо всех, начнет сейчас перед Марьей ворошить и выказывать все его проделки (ему показалось, что Захарьин как раз к тому и клонит), а та не посмотрит, что он ей брат родной, возьмет и грамотку к царю с докладом составит и с ним же самим эту грамотку отошлет.

Но Захарьин не затронул Михайлу. Мысли его были о другом.

– А неродовитые и небогатые о царе пещься будут, – с убежденностью сказал он. – Понеже блажи нету в них, которая распирает богатын, и алчности... За кус хлеба да корец медовухи верней собак служить станут. И не будет у них иной страсти, как живот за царя положить, за дело его. Как речется в святой заповеди: «Аз семь Господь Бог твой, да не будет те бози инии!»

– Помыслы его о том же, – почти шепотом проговорила Марья. – Зла на претыкателей накопил премного он.

– А что на Москве? – вдруг спросил Михайло, стремясь перевести разговор на другое, ибо все еще боялся, что Захарьин помянет о каком-нибудь его корыстном деле. – Спокойно ли? Что донести царю, помимо отписки Мстиславского?

Захарьин прицелился в него цепким, пытливым взглядом: то ли заподозрил его в хитрости и хотел удостовериться в этом, то ли другое что, еще более тайное, сокровенное, хотел высмотреть в его беспокойных, прячущихся глазах...

– На Москве чернь кулачной игрой балуется. Разору от сего нет, но царю под худую руку не доноси. Скажи: Бельский на цепи сидит, а шепотники все одно объявляются. Третьего дня объявился один на торгу – воровское шептал: Кремль разорить, царицу извести... боярина Горбатого царем крикнуть.

Михайло, враз позабыв о своих страхах, напряженно слушал боярина.

Марья сползла с подушек, крадучись подошла к Захарьину. Тот не слышал, как она приблизилась к нему, и вздрогнул, вдруг увидев перед глазами ее красную накидку.

– Государыня?.. – растерянно промолвил он, поднимаясь со скамьи.

Марья неотрывно, в упор, смотрела на него.

– Его схватили? – спросила она с ужасом.

– Не успели, государыня... Мужики его в прорубь... Токмо трех остался.

2

Утихла Москва, успокоилась. На торгу ни криков, ни брани, лишь ярыжки у кабаков нет-нет и заведут свою пьяную катавасию.

К утрени и вечерне церкви набиваются битком: перебесившись, вспомнили москвиты о Боге. Молятся, отмаливают грехи.

Мясницкие поставили скопом на алтарь святому Фролу полупудовую свечу да и забыли о бедном Фролке, спроваженном на погост за три алтына попом Авдием.

Плотницкие вздумали было еще покричать, понаветить на мясницких, но их уже не стали слушать: не до этого было. О другом затревожилась Москва... Царь уже месяц, поди, как в походе, а вестей никаких: ни добрых, ни худых. Как там он в чужой земле поуправится? С чем ждать его? С победой или с уроном? С победой – значит передых будет от податей и поборов на войско, а нет – примутся снова мытники выбивать из мужиков последнюю деньгу. Семерых в один кафтан сгонят.

Тревожится Москва, ждет вестей. У купцов на торгу, у заезжих людей всяк спешит перво-наперво выпытать, выпросить: не слыхал ли чего?.. Хотя и знают, что купцы давно не ходят ни в немецкую, ни в литовскую землю, а заезжие люди всегда с прошлогодними новостями.

Ходили толпой на Поганую лужу – к митрополиту. Полдня стояли ждали. Пообморозились. Настрадались.

Не вышел к ним митрополит: совсем хворь одолела. Чернца выслал, велел сказать, что денно и ночью молится о царском здравии и просит Бога не оставить его в трудный час. Велел и им всем молиться и просить Бога даровать царю победу.

От слободы к слободе пошли перешепотки: будто прискакивал от царя брат царицын Темрюк с наказом к боярину Мстиславскому – ехать в новгородские и псковские земли войско на подмогу царю собирать. Верили, не верили, но шептаться не переставали. Наконец не стало терпенья: занудила безвестность и тревога. Весь посад всколыхнулся. Не сговариваясь, пошли к Кремлю, собрались у Фроловской башни, стали бухать в окованные железом ворота.

Сверху, с отводной стрельницы, заорал на них стражник:

– Эй, народ, расхоться! Пищали заряжены!

– Пищалью нас не стражай! Мы подобру пришли!

– Нам правду проведать!

– Нет правды!.. Расхоться! – угрозливо кричал сверху стражник. – Фитиль прилажу, будет вам ядрена потешь!

– Не гоношись, не гоношись! – закрикивали его. – Ишь, под небу вылез и ядреное раздаешь!

– Спускайся сюды, мил-бел! Мы тебя наядрим хошь во все места!

Еще одна голова высунулась из-за бойничного зубца. Гулко, как било, прогудел над толпой надсаженный голос:

– Эй, народ! Я стрелецкий голова Авдей Суков! Пошто скучились?

– Голова, столкни-ксь нам тово еборзея! Пищалью стращал!

– Мы правду пришли вызнать, а он нас – пищалью!

– Зови болярина! – кричали из толпы. – Пушай станет перед нами и скажет!..

– Не вздуряйтесь! – еще громче крикнул стрелецкий голова. – Расходись!

– Не разыдемся! Зови боярина!

– Пущай скажет нам про ратное дело!

– Уж кой час в неведенье!

– Зови боярина!!! – заревела разом вся толпа. Замахали руками, засвистели, полетели на стрельницу комья снега.

– Тьфу! – плюнул с досады Авдей Суков. – Боярина им... Буде, самого Господа Бога?!

– Бо-ля-ри-на! Бо-ля-ри-на! Бо-ля-ри-на!

– Ну, ждите, собачьи души!

Стали ждать боярина.

Кто молился надвратному Спасу⁴⁰, кто трясся от холода, толкался и орал, будто крик согревал, а кто в унынье и страхе молча ждал, что же будет дальше? Выйдет к ним боярин или стрельцы пальнут из пищали – и делу конец. Но стояли в толпе и такие, которые если уж затевали что, то непременно должны были добиться своего. Таким и на стены взлезть не велико дело. Полезут, ежели в раж войдут: и ни стрельцы со своими пищальями не остановят их, ни строгий лик Христа – сдерут со стены и его, чтоб не охлаждал своим осуждающим взором разбушевавшуюся удаль. Таких лучше не распалать...

Знал об этом Мстиславский, потому и поспешил без промедления к Фроловской стрельнице, как только услышал от стрелецкого головы о собравшейся перед воротами толпе.

Мстиславский мог бы подняться на отводную стрельницу и оттуда говорить с собравшимися, но он решил выйти прямо к ним – лицом к лицу, чтобы ни в ком не зародилось подозрение, будто боится боярин толпы.

Коль боишься толпы – какова тебе вера тогда? Никогда еще трусу не верили на Московии!

Выйдя к черни решительно и спокойно, будто на гульбище к ним пожаловав, Мстиславский одним своим видом успокоил и самых ретивых смутьянов, и самых упрямых неверов.

– Мое почтение и поклон вам, люди московские, – спокойно, негромко сказал он и низко поклонился. – Коль по чести своей я достоин вас слушать, московские люди, говорите, я слушаю!

– Достоин! Достоин! – закричали из толпы. – Знаем тебя!

– Пошто оставили вы дела свои и заботы и сошлись сюда? Буде, кто подбивал вас?

– Шли по доброй воле! И звали тебя, дабы ты сказал нам всю подлинную...

Из толпы выступил косматый угрюмый мужик, поклонился Мстиславскому:

– Кожемяк я, боярин. За Яузой мой дом. Дозволь от всего народу спросить тебя про царя нашего и господаря Иван Васильевича, что в землю литовскую ушел с ратным делом. Чтоб не было в наших душах переполоху и смуты, скажи нам и перед иконой Господней перекрестись – справил государь дело свое ладно иль худо?

За Никольским раскатом черкесы едва сдерживали лошадей. Толпа еще не видела их – все смотрели на Мстиславского и ждали от него слова.

Мстиславский стоял на мосту, перекинутом через ров, – место это было высокое, и с высоты он сразу заметил черкесов. Подумал раздосадованно: «Ох и ретив голова! Уже и Темкина всполошил. Загорится сыр-бор, а ворота настезь...»

Лицо у Мстиславского посуровело, он повернулся к воротам, поднял глаза на надвратную икону и решительно, размашисто перекрестился.

– Господи! – не отрывая глаз от иконы, прошептал он, и даже самые задние услышали его шепот: – Молим тя, даруй победу нашему государю!

⁴⁰ Надвратный Спас – над воротами Фроловской стрельницы висела икона Спаса (Иисуса Христа) на полотне. Позже по названию этой иконы башня стала называться Спасской.

Мстиславский опустился на колени и услышал, как вместе с ним, тяжело и грузно, опустилась вся толпа.

– Молим тя, господи! – еще напряженной прошептал он.

– Молим тя, господи! – выдохнула толпа, и пополз гул по стенам и стрельницам, по куполам, по звонницам...

– Молим тя, господи!

«Осподи-осподи...» – укатилось к Москве-реке.

3

К концу января зима настоялась, как пиво на хмелю: крепко, нестерпно шибало морозом, палило жгучим ветром, будто между небом и землей металось невидимое пламя.

По закуткам, по притынам набились пухнатые сугробы, повжимались в заборы, в стены изб, поподлезли под самые крыши, словно хоронились от стужи. Куда ни глянь – снег, снег... Долго скупилась зима, долго держала землю черной, неприкрытой, но потом расщедрилась: что ни день – снегопад, что ни ночь – метель. Засыпан снегом Кремль, засыпаны слободы: по полям, по урочищам, по выгонам снегу в полсажени – не слежалого, легкого, как дух. Чуть дунет низовик, и сразу же вспучивается, поднимается кверху густая снеговерть – ни неба, ни земли не видать, только белое, сизое, синее мельтешение...

Из-за Яузы, с Москвы-реки, с Воробьевых гор метутся тучи снега. Заметают площади, улицы, избы, соборы...

Ночью – хоть глаз выколи: стылая, крошечная мгла. От избы до избы через улицу не перейти. Закружит, завертит – в двух шагах от порога запутает. Собьешься с пути – ни огонька, ни звука. Зови не зови, никто не услышит, никто не выйдет на помощь.

До утра все мертво. Спит Москва, засыпанная снегом, исхлестанная ветром, истуженная, неприветливая...

Если к рассвету не стихнет, не отпуржит, город так и не расшевелится за весь день. Даже к полудню не соберется на торгу больше двух-трех сотен людей. С десятков лавочников снимут запоры со своих лавчонок, да какой-нибудь неудачливый купец раскинет с досады свой товар – авось найдется покупатель. Пробежит иззябший пирожник, грея руки на горячих пирогах, – уступчивый и не такой уже навязчивый; прошмыгнет карга-ворожея, закутанная в немыслимое тряпье, из-под которого воровато, еле слышно доносится быстрый шепот: «Гадаю-ворожу, от сглаза отвожу!» – прорысит по делу слуга боярский, прокатятся сани, мелькнет подолом ризы какой-нибудь шустрый попик, торопясь в приход на Ильинку или Варварку, или выедет из Кремля окольный Темкин с черкесами, проедется вдоль рва туда-сюда и опять уберется в Кремль.

В полдень стукнет на Фроловской стрельнице пушка – полетят с куполов белые хлопья, посыплется белая пыль, будто кто тряхнет высокие, похожие на снежных баб соборные маковки. На стрельницах сменяются пушкари. Скинув бараньи тулупы, разбредутся по кабакам: кто к Фетинье, а кто в Занegliменье, к бронникам, в их питейную избу, которая прозвана на Москве «Гузном».

В ненастный день после полудня совсем пустеет Москва. Расходятся с торга последние людишки, разъезжаются по гостиным дворам купцы, мытник завязывает свою кожаную сумку, несет ее на Мытный двор – привешивать свинцовую печать.

Тихо. Пустынно. Угрюмо.

Через весь посад, через Китай-город – по Никольской, по Ильинке, по Варварке – метет сквозная поземь: хлещется о кремлевские стены и стрельницы, наметает сугробы под самые бойницы, а по Тверской, со степи, через растворенные городские ворота, рвется встречный

ветрище. Сшибаются ветры, закручивают неистовую завирюху – кажется, вот-вот земля скрутится свитком.

На звонницах глухо погудывают раскачиваемые ветром колокола. Они то затихают, то с новым порывом ветра сильней напрягают свой гуд – тогда чудится, будто жалобно и надрывно стонет под снегом земля.

В белом мраке лишь-лишь проступают снежными глыбами Кремль, Покров...

До сумерек висит над городом густая, вспененная бель, а с сумерками почернеет, отяжелеет, опадет на землю, и до рассвета будет лежать на улицах и площадях холодная темень.

Но уж если выдастся погожий денек, без завирюхи и без снегопада, – тогда Москва разбередится чуть свет. Всполошится люд: кто куда, кто зачем... Идут пешком, едут верхом, в санях, на телегах... Все торопятся, всем к спеху!

На Кузнецком мосту, как всегда, давка и ругань. Пол-Москвы ходит и ездит через этот мост: все Занеглименье, весь Малый посад, Дмитровка, Петровка, а мост худ – бревна настила будто плавают на воде, и узок: лишь-лишь, в самый притык, разминуться возам. Замешкается какой-нибудь возница или лошадь споткнется, смыкнет на сторону – и заторится проезд. Крик такой учиняется, будто орда татарская подступила к городу. Виновный непременно схлопочет по боку иль по загривку, и ладно, если стерпит еще, не даст сдачи... Тогда разъедутся побыстрому. А не стерпит, ответит, такая буча поднимается – страшно смотреть! Кто – кого, и кто – чем! Бежит тогда мостовой за стрельцами. Разводят, растаскивают стрельцы драчунов, но бывает, и стрельцам не унять разбушевавшихся ретивцев.

4

Февраль тоже зачался пуржистым. Мело, студило... Москва оцепенела – выветренная, выстуженная, засыпанная снегом.

Ранней весны не ждали. Февраль с пургой – весна с нудьгой. Но вдруг к Масленице непогодь унялась, спал мороз, снег отяжелел, спластался, ветер уже не таскал его следом за собой. Серая кудель облаков осветилась. Сквозь них тускло проглянуло солнце.

На Москве закуролесила Масленица.

В канун Масленицы, всю сыропустную седмицу⁴¹, на подворье Хворостининых гурбились ряженые: и приходящие, с соседних дворов и улиц, и свои – челядные... Посреди двора нарядили масленицу – сажени в две высотой и в три обхвата.

Ожерелье на масленице из березовых чурок, рубаха полотняная, по подолу «мережки» из пряников. Вместо грудей – две сулеи с продыренными боками, из которых тонкими струйками бьет вино, и боярский виночерпий, спрятавшийся с бочонком под широкой рубахой масленицы, все время пополняет их. Только подставляй рот и пей!

Блины, в сметане, как в свежем снегу, и в масле, и в меду, прямо с огня, – горой на деревянных подносах... Слуги несут и несут их, будто где-то в подклетьях у боярина расстелена скатерть-самобранка.

Сам боярин сидел на крыльце, укутанный в шубы и полсть, на голове высокая, рыжего меха шапка, похожая издали на горку медовых блинов. Боярин широк, тяжел и так же потешен и несуразен в своем облачении, как и масленица, плящущая на него из-под черной нарисованной брови свой глумливый глаз.

Всю неделю просидел так боярин: ни слова не сказал, ни пошевелился, только глаза его все время светились, как две маленькие плоские, завистливо и печально следя за шалым разгулом на своем подворье. Сыновья его тоже всю неделю молча и неподвижно простояли за его спиной.

⁴¹ Сыропустная седмица – последняя неделя перед Великим постом.

Никому ничего не возбранялось в эту неделю на боярском подворье. Каждый мог вытворять все, что ему заблагорассудится, и чем жутче, бесстыдней и неутолимей буйствовали ряженные, тем ярче блестели глаза боярина.

– Испола-а-ти, болярин! – вопили самые хмельные и самые восторженные, вползая к нему на крыльцо по обледенелым ступеням.

– Живи сто лет! Тышшу, болярин!..

Самых настырных боярские служки стаскивали со ступенек, чтоб не досаждали боярину, отряжали крутить хоровод, есть блины, пить вино, вконец опившихся оттаскивали в хлев: ни потехи от них, ни задору – лежат кулем... Не для того боярин затеял гульбу, чтоб смотреть, как дрыхнет опившаяся чернь. Только разор, только шалая буйность и дурь – только этого хочет боярин. Лицо его бело – белее снега, покрывшего скат над крыльцом... И у мертвых не бывает такого лица. Третий год одолевает его хворь, и вот, видать, подступил конец. Глазами, одними глазами вбирает он в себя последние крохи жизни, последнюю радость присутствия в этом мире, и нет для него ничего дороже этого последнего, потому что, вернись к нему снова здоровье и молодость и проживи он опять такую же долгую жизнь, переполненную удовольствиями и радостями, ему все равно не достало бы этой последней радости и этих последних ощущений причастности к тому великому и непостижимому, которое навсегда исчезало из него.

Глаза его светятся тускло и страшно – живые глаза мертвеца. Все в нем умерло: и жалость, и сострадание, и злоба, и доброта, душа его опустела, как разрушенный временем дом, и только в глазах – глубоко-глубоко – еще теплился слабый огонь.

Неподвижен боярин... Сыновья за его спиной – как последняя опора, на которой еще держится его жизнь. Кажется, отступи хоть один из них, и смерть тотчас обрушится на него.

– Живи тышшу лет, болярин! – распинается чья-то глотка. – До скончания света, болярин!

...Всю неделю крутилась на боярском подворье неистовая гульба, и всю неделю молча, жадно и страшно смотрел на нее старый боярин – как волк, матерый, еще повелевающий стаей, но уже бессильный и обреченный.

Он прощался с жизнью, а жизнь бесилась, юродствовала, глумилась сама над собой, словно для того, чтобы он не жалел о ней и не завидовал тем, кто еще был переполнен ею.

В последний день, лишь только отзвонили обеденные колокола и на подворье срядились сжигать масленицу, кто-то выпустил из псарни собак – для потехи, с хмельной одури... Выпустил собак и затворил ворота. Изъярившиеся, просидевшие целую неделю взаперти, собаки с жутким остервенением кинулись на людей. Будь ворота не заперты, собаки вдоволь бы натешили свои клыкастые пасти и выместились бы на людях за свое долгое мучение, но людям некуда было бежать, и они кинулись на собак – еще с большим остервенением, еще злобней и беспощадней. Две ярости столкнулись – звериная и человеческая, и поднялось такое, что даже старый боярин зашевелился.

Старший из сыновей, Андрей, приклонился к нему, осторожно спросил:

– Кликнуть псарей?

Старый Хворостинин напрягся – ему тяжело было говорить, но злорадство, прихлынувшее к нему в душу, так и выперло из него.

– Пусть грызутся... – прошипел он.

– Собак жалко – перекалечат! – еще осторожней сказал Андрей.

– Пусть грызутся, – повторил Хворостинин.

Старый, умирающий волк, он жаждал последней своей добычи – мести за свою обреченность, и получил ее. Собаки и люди, которые сейчас одинаково были ненавистны ему – за то, что должны были пережить его, – сцепились между собой, и кому-то уже не суждено было пережить его. Ему было все равно кому – собаке или человеку, лишь бы только увидеть, узнать, утешить себя, что он не одинок в своей обреченности.

Андрей, как будто догадавшись о чувствах отца, смелей заговорил с ним:

– Поглянь, тять, любимый твой, Узнай, уж совсем ободрал мужика. Да дюжий, дьявол, не может кобель его завалить! Два раза на спину сигал...

– Завалит! – заговорил и средний сын, Дмитрий. – В загрявок вцепится – быть мужику на земле.

Андрей и Дмитрий стали по обе стороны от отца. Сзади, за спиной, остался Петр. Молча, сдерживаемые только напряженным вниманием, смотрели, как изодраный, окровавленный мужик отбивался от огромного муругого пса, с яростным упорством норовившего хватить его за горло.

Мужик отступал к городье, чтобы защитит себя хоть со спины, но пес, словно угадав его намерение, бросался на него то спереди, то сзади, из-за чего мужику никак не удавалось приблизиться к городье. Мужик был ловок, силен – с рогатиной пошел бы, пожалуй, на медведя, – но сейчас ему даже полена не попадалось под руку. Голыми руками отбивался от пса.

– Тять, а то кликнуть псарей?! – встревожился Андрей. – Узнай-то на волка натаскан...

Старый Хворостинин только зашипел в ответ.

Мужик совсем изнемог от свирепых наскоков пса. Пес уже дважды сбивал его с ног, но мужику оба раза каким-то чудом удавалось уберечь свою глотку от ощеренных, дымящихся клыков.

У старого Хворостинина глаза от напряжения наполнились слезами. Он всхрапывал, как сонный, давясь воздухом, – рот его был широко открыт, на бороду скатывались густые слюни и застывали маленькими сосульками.

– А волка уже не возьмет, – сказал с сожалением Дмитрий. – Стар!

В это время мужик поскользнулся, упал на бок, заломив под себя руку. Пес стремительно метнулся на него – под бурой шерстью скрылись голова мужика, грудь, руки, торчали только ноги, неподвижные, словно отсеченные.

– Доконал, – спокойно сказал Дмитрий, но ноги мужика вдруг взметнулись вверх – он перевернулся через голову, подмял под себя пса. Рык его стал прерываться, глохнуть...

– Узнай... – Казалось, старый боярин хотел крикнуть, чтоб посильней взъярить пса, но сил на крик у него не хватило, и получился лишь полустон-полушепот.

Мужик поднялся на ноги, изнеможенно покачнулся и, едва сделав шаг, упал лицом в окровавленный снег рядом с задушенным псом.

5

Лишь проводили масленицу, как снова взялся мороз. К третьему дню поста так настало, что звон заутренних колоколов уже не расплывался над землей, а улетал стремительно в небо и осыпался оттуда частым шелком, словно по застывшему небу хлестали бичами.

Старый Хворостинин, услышав этот странный звон, сказал своему домашнему дьячку, читавшему ему в спальне по утрам псалтырь:

– По мне звонят... Ин как! Будто в колоду горохом.

– Студено, батюшка, – пропел дьячок.

– Собороваться нынче буду.

– Аки угодно, батюшка.

– Кого призовем?..

– Кого повелишь, батюшка. Архангельского протоиерея...

– Гундос. Левкия – от Чудова...

– Левкий, батюшка, с царем на брани.

– Жаль. Левкий освятит⁴², помирать не терпится.

– От Успения – Перфилия...

– Возгря⁴³.

– От Благовещенья?..

– Благовещенцы Сильвестром провоняны. Елевферия от Новоспаса, что на Крутицах...

Поезжай.

– Далеченько, батюшка... Лють морозная... Исстудим попа. Призовем от Николы Драчевского, не то от Вознесения...

– Поезжай. Возьми сани с верхом... Шубы... Покровы... Елевферию хочу душу вверить.

К обедне воротись...

– Аки велишь, батюшка, – поклонился дьячок.

– Погоди... Сыновей призови...

Дьячок еще раз поклонился, вышел. Хворостинин изнеможенно откинул голову на подушки, прислушался.

– Звонят, – шепнул он самому себе, закрыл глаза и уложил на груди свои иссохшие руки.

Хрястко, как льдины в ледоход, сшибались и рассыпались тяжелой каплей последние, уже не частые удары колоколов, и вместе с ними, удар в удар, надрывно билось под скрещенными руками его сердце. Удары колоколов становились все реже и глуше, и сердце все реже и глуше стучало в его груди. Удар – и совсем нестерпимо дожидаться другого... Второй – и кажется, что до третьего уже не дожить.

Колокола стихают, стихают...

Хворостинин снял руки с груди, из последних сил уперся ими в подушки, приподнялся, громко сказал:

– Смерть, где ты? Покажься!

Тихо качнулось длинное пламя единственной свечи, стоявшей у его изголовья, вместе с ней качнулся зеленый полумрак...

Колокола смолкли, а сердце его забило часто-часто, словно высвободилось из каких-то пут. Хворостинин упал на подушки, крепко зажмурил глаза.

– Тять, кликал?..

Хворостинин узнал голос Андрея, но глаз не разжмурил – долго еще лежал с напряженными веками, словно боялся, что это смерть голосом Андрея окликает его.

– Мы пришли, тять...

Хворостинин медленно открыл глаза – три тени стояли у его изголовья.

– Подымите свечу, – тихо сказал он. – Не вижу вас.

Андрей поднял свечу – три тени стремглав перескочили на стену.

– Сыны... – Хворостинин набрал в себя побольше воздуха. – Помру нынче.

Свеча дрогнула в руках Андрея...

– За попом уж послал... Вам – воля моя последняя. Дабы праздность и ленищи вас не сгубили... Дабы не почили на даровом, чести и места не ища... все по духовной⁴⁴ царю оставляю. Вам же... Тебе, Андрей, – саблю свою... в бирюзовых ножнах... полоса булатная, насечена золотом. Тебе, Димитрий, – седло бархатное, серебром чеканенное... со всею снастью... да цепи поводные серебряные. Тебе, Петр, – кук с сустугами⁴⁵ и шелом к нему... Яблоко у него на наверхии срезано... Ссек мне его Кудаяр-мурза, а я ему башку ссек. Не довелось мне сгинуть в поле... Ин помираю, как в бабьем подоле.

⁴² Освятит – здесь: приготовит к смерти, совершив обряд елеосвящения.

⁴³ Возгря – сопля.

⁴⁴ По духовной – по завещанию.

⁴⁵ Кук с сустугами – доспех из кожи с нагрудными пряжками.

Хворостинин помолчал, старчески пошурился на сыновей.

– Сурова воля моя, сыны. Вижу, смутились ваши души.

– Воля твоя свята для нас, – сказал Андрей.

– Сурова, сыны, но справедлива. Не хочу приять вашей судьбе... дабы сами добыли, кому что по достоинству. Садитесь, сыны, на коней и езжайте к царю... Просите службы у него. Будет ему в угоду ваша служба, он вас пожалует большим, чем могу пожаловать я. Доверьте ему ваши судьбы, блюдите во всем ему верность... Царь – ваш отец отныне, и раделец ваш, и жалователь... Все, что придет от него, будет вашей заслугой и честью. Все, что отыметя, будет вашим позором. И еще заповедать хочу вам... Как встарь заповедал чадам своим славный княж Мономах. Ежели крест целовать станете, поначалу в сердце своем допытайтесь – устоите ли на том?.. Тогда целуйте. И, целовавши, блюдите, дабы не погубить души своей клятвоступлением.

– Все исполним, в чем воля твоя, – сказал твердо Андрей.

– Тебя хочу слышать, Димитрий.

– На воле твоей стоять буду, – отозвался Дмитрий.

– Ты, Петр, братьям старшим послушник... По их воле ходить будешь, покуда не отставят они тебя от воли своей. А посем – моя воля на младость твою... Что я рек, то тебе как заповедь Божья. Преступишь ее – из могилы дойдет мое проклятие.

– Твоя воля, отец, – одна дорога, – глухо, сдержанно промолвил Петр. – Ежели изойдет она?

– Вспять пойдешь...

– Вспять не ходят, отец. Я своей дорогой пойду.

– Слаб ты, Петр, нетореным путем идти... Нет на то моего благословения.

– Повинись, Петр, отцу, – с укором сказал Андрей. – Последняя воля...

– На всю мою жизнь!

– Повинись, братец, – подал голос и Дмитрий.

Петр убрал свое лицо от света свечи, еле слышно сказал:

– Повиняюсь...

Хворостинин устало смежил глаза.

– А теперь велите закладывать буланых... Поеду с Москвой прощаться.

Глава шестая

1

Смененный Курбским на воеводстве в Дерпте, боярин Челяднин по пути из Ливонии в Москву завернул в Великие Луки, куда прибыл из Можайска с войском царь.

Великие Луки были опорным городом – отсюда начинались походы на Ливонию, отсюда же решил выступить Иван и на Литву.

В Великих Луках войско делало последнюю большую остановку. Сюда свозились припасы, здесь воеводы окончательно приставлялись к полкам, здесь заканчивались и последние приготовления: дальше, за извиистой Ловатью, уже не было русских городов. Лишь на самом рубеже, в сорока верстах от Лук, стоял еще один небольшой крепостной городок – Невель. Но после нападения на него нынешним летом литовского гетмана Радзивилла, которого не смог ни одолеть, ни отогнать от его стен князь Курбский, городок этот был сильно разрушен, малолюдн и годился только для короткого привала.

Ко дню приезда Челяднина войско уже переправилось через Ловать, ушли из города и воеводы. В отлогой прибрежной низине виднелись их разноцветные, нахохлившиеся, как куры на насесте, высокие шатры. В городе оставались лишь пушкари со своим нарядом, ожидавшие, когда для них наведут мост поверх непрочного речного льда, который мог подломиться под тяжестью пушек, да вся конная посоха. Город был забит санями, телегами, лошадьми... Лошадей было так много, что даже церкви в городе пропахли конюшной.

Давно не видел Челяднин такого – со времен казанских походов. Большую силу собрал царь... Догадывался Челяднин, что не одному Сигизмунду решил он доказать свою силу и умение воевать, но и своим боярам тоже, и, быть может, боярам больше, чем Сигизмунду.

В Луках царь поселился в небольшой церквушке Иоанна Крестителя. Жил в тесной келейке пономаря и никого, кроме Федьки с Васькой да архимандрита Чудовского монастыря Левкия, приехавшего к войску благословить ратников, к себе не допускал. С воеводами встречался в Разрядной избе, куда иногда заезжал после обедни, но чаще не заезжал. Зато к войску ездил по два раза на дню и, случалось, отстаивал и вечерню у походного алтаря вместе с каким-нибудь полком.

Челяднин встретился с царем в Разрядной избе. Сразу по приезде в Луки, еще не прознав всей сути, лишь выпытав у стрельцов на заставе, что царь живет в Иоанновской церкви, он направился было прямо к нему, но, пока переезжал из одного конца города на другой, воеводы узнали о его приезде и послали ему навстречу молодого княжича Оболенского.

Оболенский встретил боярина, предупредил о царском затворничестве и не очень сдержанно, по молодости не умея скрыть своих чувств, посоветовал дожидаться царя в Разрядной избе.

Челяднин поначалу хотел было пренебречь советом молодого князя, но, видя его волнение и понимая, что он просит не только от себя, но также и от остальных воевод, повернул вместе с ним в Разрядную избу.

«В черном теле держит, – думал он об Иване, едуци в Разрядную избу. – Ужли так крут, что приблизиться страшатся? А келья? Пошто бы ему в ней хорониться? Грозу напустить и из хором можно».

Хотелось Челяднину разобраться кое в чем, осмыслить, понять поступки царя... Воеводы непременно жаловаться станут, совета спросят. Между собой уж, поди, все переговорили, обо всем обсоветовались, теперь на свежую голову накинута. Накинута, чувствовал Челяднин, по Оболенскому видел. Верно, много страху и растерянности нагнал на них этот тайно подго-

товленный царем поход. Думали небось в запале и на радостях, расстроив ему дело весной, что не скоро ему собраться с духом – не на соколиную же охоту выезд... Теперь, видать, ахнули, да уж поздно! Перехитрил их царь.

«Не занимать ему у вас ума, не занимать!» – думал Челяднин с невольным злорадством, сам не зная и не понимая, откуда в нем это злорадство. Много обиды на царя тайлось в его душе, но всегда, как бы жестоко и несправедливо ни обходился с ним Иван, всегда он чувствовал, как сквозь все его злобствования и обиды пробивается невольная, смущающая его гордость за царя. Не хотел он ее, стыдился и никогда никому не признался бы в этом своем чувстве к царю, но задавить его в себе не мог. Оно жило в нем, мучило, как какой-то тайный грех или наваждение, подтачивало в нем его собственную гордость и волю. И сейчас опять вышло из какого-то укромного уголка...

Чем больше думал Челяднин об Иване, тем сильнее раздражался против бояр. Хотя и мало он знал, живя в отдалении, про всякие их хитрости и преткновения, но и то, что знал, что доходило до него, убеждало его в их неумности, наивности, а главное, в бесполезности всего того, что затеяли они в надежде осмирить царя. «С мальчонкой не совладали, чего уж теперь пыжиться? Теперь его не обручить! Теперь и у него сила есть... И хитрости – куда вам всем! Поди, уж пошло по Руси, что царь, как старец, в келейке живет... И христолюбив, и праведен! Народ такого царя любит! А вы, бояре?! Вы толстосумы, праздни и обжоры! Лишь укажи он на вас сему народу – что от вас останется?»

Вспомнился ему Курбский. Прибыв в Дерпт, князь Андрей рассказывал ему:

– Вся Русь на царя молится! Весь черный люд на него как на радельца своего глядит. На заступника! От нас, бояр! Говорил он с ними однажды в Москве, на торгу, с Лобного места... Двенадцать уж лет прошло, а помнят! Мальцам вместо сказок рассказывают, как выходил к ним царь-батюшка на говурю! По всем весям шепчутся... Часа ждут, когда он силы наберет и их от бояр оборонит!

Дивно было Курбскому. Впервые он ехал по Руси через ямы⁴⁶ и впервые услышал это... Он же, Челяднин, за десять лет беспрестанных переездов понаслышался такого, что завязывая глаза и беги на край света! Рассказал бы он боярам, что каждый мужик на Руси на них нож наточил, – так не поверят, смеяться учнут. Неколебима в них вера в смиренность русского мужика. Видят они его преклоненного, с покорной головой и не ведают, что он злобу свою от них прячет, а не почтение блюдет.

«Э-хе-хе, боярушки, – уныло думает Челяднин. – Вам бы бороды остричь – полегче б головами стало вертеть... Повертелись бы вы, поозирались, буде, и узрели бы, какое на вас надвигается?! Держали вы Русь под собой, как лед реку, а половодье-то всякий лед крушит! Мужик, буде, и не напустит на вас ножа, ежели царь не натравит, а уж поместные⁴⁷ праздник свой справят за вашим столом. Ибо где им взять свою долю, как не у вас вырвать? И он отдаст им вашу долю! И они станут ему служить за нее так, как никогда не служили вам ваши холопы!»

Выболелся он уже весь от этих мыслей: не в первый раз приходят они к нему. И ничего на душе, кроме уныния. Посмеется лишь над собой, что и сам ведь – боярин, такой же, как все, и, не выдвори его царь из Москвы, не потаскайся он по Руси, не посмотри, не послушай, ничего бы он этого не знал, и не было бы в нем этих мыслей... Может, и лучше было бы?!

...Улочка, по которой с трудом протискивались сани Челяднина, наконец выбилась к площади. Площадь была грязная, изнавоженная, истыканная коновязями, возле коновязей кучи соломы, черные вытайны от костров... Поодаль, на взгорке, – купольная часовенка, возле нее черными рядами, как гробы, – пушки. Пушек много: впереди, в двух рядах, – большие стенобитные да шесть рядов малых. Среди больших стенобитных знаменитые еще по Казан-

⁴⁶ Через ямы – на перекладных: от одной ямской станции (яма) до другой.

⁴⁷ Поместные – дворяне.

скому походу – «Медведь», «Единорог» и «Орел». При осаде Казани эти три пушки за один день боя снесли до основания сто сажений городской стены. Тут же и огромная «Кашпирова пушка», способная стрелять ядрами в двадцать пудов весом. Отлил ее лет десять назад на московском Пушечном дворе взятый на службу Иваном немецкий мастер Кашпир Ганусов. Рядом с «Кашпировой пушкой» другая, немного поменьше – «Павлин». Ее отлил вслед за Кашпиром Ганусовым русский мастер Степан Петров. У «Павлина» ядра – в пятнадцать пудов.

После отливки оба эти орудия были установлены на торговой площади, на двух главных городских раскатах: «Павлин» – на Покровском, близ собора, «Кашпирова пушка» – на Никольском. С тех пор их ни разу не снимали с раскатов, но теперь пришел и их черед.

Челяднин не смог пересчитать пушки – на глаз только прикинул, подумал: «Велик наряд! До сотни, поди... Не иначе как на Полоцк нацелился. Умен, умен... Возьмет Полоцк – до самой Вильны путь открыт. Всполашатся паны-рада! Мира запросят! Даст он им мир, а своим на хвост наступит... Да так, что и не шевельнутся».

Да площади вертелось с десятков всадников. Лошади под ними были горячи, всадники с трудом сдерживали их.

– Татаровя, – склонившись с седла, сказал Челяднину Оболенский. – Тот, в лисьем башлыке, – царь Касаевич, казанин... А на соловых – царевичи... Бек Булат, Кайбула и Ибак. Царя стерегут. Тенью при нем...

– Пошто ж так? – удивился Челяднин.

– Поди пойми – пошто? – еще ниже склонившись, тихо сказал Оболенский. – От нас щитится!

– От страху?..

– От презренья! А более всего... – Оболенский совсем сполз с седла, приткнулся чуть ли не к самому лицу Челяднина: – Я ин гадаю – злохитрствует. Чтоб повинить нас, будто и жил с нами с опаской. Да и воинникам, и черному люду посошному показать: вот, деи, каки у меня бояре – страшусь перед ними за живот свой.

– Пустое, князь, – усмехнулся Челяднин. – Честью одаривает татар царь. Они честь любят не меньше нашего.

– Велика ли честь?.. Сворней по каждому следу! В Разрядную же избу один Касаевич вхож. А царевичам – не велено.

– По их же обычаям и не велено. У них при царе даже мурзы и бей в пороге сидят.

– Ужли и нам при нашем царе в пороге сидеть? Не то ли тщишься сказать, боярин?

– Тебе бы, княжич, вовсе не думать о таком, – сказал спокойно Челяднин и дружелюбно посмотрел на Оболенского. – Службы ищи, дела высокого!

– Я службы не гнушаюсь, боярин. На мне бехтерцы⁴⁸, а не праздный кафтан! Но ни деда мои, ни отцы у московских государей под порогом не сживали, и мне не пристало иметь сие за честь.

– Ни у дедов твоих, ни у отцов добрых холопов в услужении не было, – сказал ему Челяднин с грубоватой строгостью, – а у него цари и царевичи, сам речешь, тенью при нем!

– Эж цари! – не то удивился, не то растерялся от такой неожиданной и обидной прямоты Челяднина Оболенский. – Татаровя!

– Татаровя?! – насмешливо повторил Челяднин. – Твои деда, да и его, к сей татарове на поклон три века ездили сапоги у них лобызали... А они у него на своре, как борзые!

– Дивно от тебя такое слышать, боярин, – сказал с укоризной Оболенский. – В нашем роду вельми чтят твой род, а тебя почитают особым почтением – да все лиха твои... Не от Бога они!

– Горе мне, коли токмо за лиха почитают меня, – обронил Челяднин.

⁴⁸ Бехтерцы – доспех из металлических пластинок, скрепленных кольцами.

- Не от Бога они! – настойчиво повторил Оболенский.
- Все от Бога, – сказал спокойно Челяднин.

Его спокойствие, видать, сильнее всего и обидело Оболенского. Он насупился и до самой Разрядной избы больше не заговаривал.

2

Разрядная изба стояла в дальнем конце площади, у начала широкой и длинной улицы, за избами которой виднелся высокий остроконечный восьмерик деревянной церкви, где отставивали обедни, заутрени и вечерни воеводы. В прошлый поход бывал в этой церкви на службах вместе с воеводами и царь, теперь для него служили в Иоанновской церкви. Служил Левкий, к которому с недавних пор почему-то стал благоволять Иван. Чем-то подкупил его ожесточившуюся душу этот хитрющий и ловкий в любых делах чернец: то ли своей прошлой враждой к Сильвестру, то ли своей преданностью иосифлянам, потому что Иван больше всего любил в людях преданность, а может, плутовством и разгульностью, которыми тоже славился чудовский архимандрит. Даже духовника своего – протопопа Андрея – не взял Иван с собой в поход, а Левкия, приехавшего в Великие Луки нежданно-негаданно, допустил к себе, и так близко, как когда-то допускал только Сильвестра.

У Разрядной избы двое рынд кинулись встречать Челяднина. Раскутали его из шуб, помогли выбраться из саней.

На крыльце, закинув за упертые в бока руки длинные полы шубы, стоял князь Серебряный. Лицо его сияло, как и алый, с золотыми шнурками, кафтан, выставленный из-под шубы... Он медленно сошел по ступеням вниз, распахнул руки, громко сказал:

- Здравствуй-ста, мил боярин! Снова Бог шлет тебя в мои объятья!
- Жалуй, жалуй, Петр-князь, – сдержанно проговорил Челяднин, но глаза его заискрились. – От добрых встреч я поотвык, а от худых старался быть подале.
- Облобызаемся, мил боярин!

Серебряный обнял Челяднина, троекратно поцеловал и, отступив на шаг, вдруг истово перекрестил его.

- Пошто ин крестишь меня, как нечистого? – подивился Челяднин.
- Чтоб напасти все сошли и отступились от тебя лиха!
- Эвон! Я, грешным делом, подумал – от меня отрещиваешься. Племянник твой полдороги роптал на меня, – глянув на Оболенского, шутиливо пожаловался Челяднин и рассмеялся.

Серебряный резанул племянника быстрым взглядом, сказал с пренебрежением:

- Под носом взошло, а в голове и не засеяно!

Оболенский побледнел, остановившиеся глаза заволоклись слезами. Челяднину стало жалко молодого княжича, которого родовые обычаи заставляли стерпеть даже такую обиду.

– Терпи, княжич, – сказал он ему ободряюще. – Настанет и твое время! Будут еще дядья пред тобой заискивать... Вот и помянешь тогда им... красный кафтан и черную обиду.

Оболенский вымученно улыбнулся – одними губами, а глаза напряг еще сильнее, боясь сморгнуть с них навернувшиеся слезы.

- А неужто никак не к лицу мне кафтан? – сощурился Серебряный.
- В кольчуге иль в кукяке, поди, поприглядней было бы! – ответил Челяднин.
- Кольчуга – на брань, кафтан – на пир! Нынче вечером в твою честь, боярин, князь Володимер пир устраивает. Попристанет и тебе кафтан с аламою⁴⁹ надеть.

– Великой честью дарит меня князь, – нахмурился Челяднин. – Да токмо не пировать заехал я сюда. Царю поклониться – и на Москву. Путь долог.

⁴⁹ Алама – воротник, шитый золотыми нитями, жемчугом; пристегивался к кафтану.

– Сие пред его ушами ты изречешь, боярин, коли станет тебе охота, а мне да князю Пронскому, который в избе дожидается, велено звать тебя на пир добром и милостью.

– Экая суета, Петр-князь, – вздохнул Челяднин. – Тебя, что ль, уважить? Кафтан твой пожалеть?

Серебряный с недоумевающей растерянностью посмотрел на Челяднина, к чему-то огладил ладонью бороду и враз посуровел, будто собрал в горсть всю веселость со своего лица.

– Ну, веди в избу, – заметив недоумение на лице Серебряного и желая прервать этот разговор, озабоченно и поспешно сказал Челяднин.

– Пожалуй, боярин! – повел рукой Серебряный и невольно встретился взглядом с Оболенским. Тот злорадно усмехнулся. Теперь пришло ему торжествовать. Но Серебряный не заметил злорадства своего племянника – не до этого ему стало. Мысли его завертелись, завертелись... Вспомнилась последняя встреча с Челядниным – в Смоленске, лет пять назад... Не таким был тогда боярин! И речи не такие говорил! «Неужто укатили царские горки?» – думал с тоской Серебряный, поднимаясь вслед за Челядниным на крыльцо.

Сзади торжествуяще топал Оболенский. Серебряный приостановился, обернулся к нему, глухо сказал:

– Останься, княжич... Царь подъезжать станет – известишь.

В темных сенях Челяднин споткнулся о порожец, чуть не упал, досадливо сказал Серебряному:

– Как тут царь ходит?!

– Ему мы светим, – ответил Серебряный и, отстранив Челяднина, стал искать на двери скобу.

Тяжелая, разбухшая дверь, обитая рогожей, натужно чвакнула, отворяясь. Густая, пахнущая потом, воском, дубленой кожей и березовыми дровами теплота дохнула на Челяднина из широкого дверного проема.

Челяднин переступил высокий порог, поклонился:

– Мир вам и лад, бояре и воеводы! Коли ждали меня – благодарствую!.. Коли нет – милуйте за незванность!

Наперед выступил Пронский.

– Поклон тебе от всех нас, боярин! – сказал он важно и так же важно поклонился. – Князь Володимер також кланяется тебе и зовет нынче к столу своему – на первое место.

– От чести и цари не отказываются, – сказал спокойно Челяднин, в полупоклоне приложив к груди руку. – Петр-князь оповестил меня про сие и кафтан повелел переодеть. Негоже, поди, в стеганине на первом месте сидеть?!

– Честь не по одежке идет! – с надменным ехидством выговорил Пронский и выпятил от самодовольства губы.

Челяднин сообразил, в кого он метил... Все воеводы были принаряжены, и сам Пронский был в дорогом кафтане, но нарочитой, бросающейся в глаза пышностью никто не выделялся. Лишь на Алексее Басманове поверх светлого суконного кафтана, который очень молодил его и красил, был надет богатый бархатный охабень с высоким стоячим воротом, сшитым голубым шелком и тонкой серебряной вителью⁵⁰. Этот-то охабень Басманова, видать, сильнее всего и раздраживал Пронского, да и не одного его... Челяднин увидел, как довольно ослабились от слов Пронского и Щенятев, и Шуйский...

«Э, воевода, да ты тут воробчиком на сорочьей свадьбе!» – подумал про Басманова Челяднин и сам поначалу не заметил, что подумал без неприязни, а, скорее, с сочувствием.

⁵⁰ Витель – витая нить из золота либо серебра.

Басманов, казалось, не замечал ни насмешек, ни косых взглядов – сидел невозмутимый и даже менее обычного насупленный; глаза его вцепились в Челяднина, но в них не было ни настороженности, ни пристальности – только любопытство.

Челяднин оглядел избу. Слева, меж двух пристенков, стояла большая печь, украшенная изразцами с изображением всадников и пушкарей, палящих из пушек, под печью куча дров, лохань с талым снегом, подставленная под поддувало. Оттуда то и дело выкатывались раскаленные угли и падали в лохань, выжигая в густой снежной жиже черные лунки. У печи рынды ладили масляный фонарь, готовясь встречать в темных сенях царя.

За печью все место – саженей пять вдоль да столько же поперек – занимала горница с двумя окошками по одной стене и тремя – по другой. Окошки были маленькие, затянутые пропощенным бычьим пузырем, света пропускали мало – по стенам, в светцах⁵¹, горели лучины.

В горнице было тепло, но все тупились к печке, только Басманов сидел отдельно, да Горенский за самым столом рассматривал трехаршинный Большой чертеж⁵², составленный в Разрядном приказе по повелению царя еще к первому походу в Ливонию.

Челяднин мало знал Горенского: в его время тот не был даже окольниковым и ни к каким думным делам не был причастен. Да и помимо Горенского в избе сидело несколько воевод, которых Челяднин вовсе не знал либо знал только понаслышке. Все они выдвинулись и посели на боярских и воеводских местах уже после того, как он был отставлен царем от управления думой и выпровожен из Москвы. Всем им немного было дела до него – ни радость, ни огорчения его приезд им не принес, – лишь любопытство светилось в их глазах. Хотелось поглядеть на знаменитого опальника, про которого всяк, знавший его, неизменно говорил что-нибудь необыкновенное, и всегда шепотком, с оглядкой, с утайкой и таким видом, будто больше оберегал его, чем себя.

Пронский, заметив, что Челяднин перестал слушать его, с обидой отступил от него и нарочно громко, чтоб показать ему свою обиду, сказал:

– Тут все други твои и приятели, боярин! А кто честью не дарен знать тебя, тех я тебе назову. Воевода Морозов!..

– Не трудись про меня говорить, князь Пронский, – смущенно вымолвил Морозов и поднялся с лавки. – Ведом я боярину... Год целый под ним в Смоленске был... Вторым воеводой. Здравия тебе, Иван Петрович! – поклонился Морозов. – С доброй дорогой и с честью тебя!

– Здравствуй, воевода, – ответил Челяднин. – Спасибо за доброе слово... Токмо дорога не добра, а честь не велика!

Серебряный, все это время стоявший позади Челяднина, негодуя хмыкнул. Откинув за спину полы шубы, он прошелся по горнице, приковав к себе взгляды, и стал у окна, принявшись внимательно смотреть в него, будто и вправду мог что-то увидеть сквозь его мутную, слегка прозрачную паволочень.

– Смоленские полки привел на подмогу, воевода? – спросил у Морозова Челяднин. – А на кого же Смоленск оставил?

– В Смоленске Шерemet-меньшой...

– А большого почто нет с вами?

– Стар воевода, – неохотно ответил Пронский. – Хворобы одолели. А про Воротынского, поди, ведаешь? – тяжело добавил он.

– И про Бельского, и про Воротынского... Князь Курбский мне в Дерпте поведал.

На минуту установилось тяжелое молчание.

⁵¹ Светцы – зажимы, держатели для лучин.

⁵² Большой чертеж – карта русских и иноземных, в основном западных, земель.

– Воеводу Бутурлина уж не ведаешь точно. Вот он – воевода Бутурлин! – указал Пронский на жидкобородого толстяка. – Стратиг сведомый и хитрый, как хорь! На Успенье⁵³ боярином стал.

Бутурлин поднялся с лавки, поклонился Челяднину.

– Токмаков, князь звенигородский! – указал на другого воеводу Пронский.

– Слышал о тебе много славного, князь, – сказал Челяднин Токмакову. – Не по старческой докучливости, по удивлению хочу спросить: ужли сам, своими руками, старого магистра ливонского Фюрстенберга полонил?

– Кабы князь Курбский Феллина приступом не взял, како бы мне до магистра достать?

– Однако ж и ланд-маршал Филипп Белль был тобою взят! Рекут отменно храбр был маршал?

– Филипп Белль был первейший в Ливонии рыцарь, – спокойно сказал Токмаков. – И храбрости сатанинской! С пятью сотнями латников кинулся он на меня да на князя Барбашина, а у нас с князем двенадцать тысяч ратников. Хоть и враспloch напал на нас, да одолели мы его легко.

– Во всякой земле не без героя, – проговорил раздумчиво Челяднин. – Помнишь, Петр-князь, – обратился он к Серебряному, – казанского царевича Япанчу? Как дерзко он бился с нами! Из Казани ушел, чтоб покоя нам не давать! Сидит в засеке в лесу и ждет: явится на самой высокой градской веже знамя, и вот он уже скачет на наши полки, а из города – також... Отворят ворота, вывалят тысячей – и пошла резня. Япанча с одной стороны, казанцы с другой. Не погрои ты тогда, Петр-князь, Япанчу, гляди, и не добыли б мы Казани.

– Ужли удача Серебряного, а не воля и мудрость царя скорили нам царство татар? – неожиданно спросил молчавший досель Басманов.

Серебряный не очень внимательно слушал Челяднина, и только после вопроса Басманова до него дошло все сказанное Челядниным, особенно последнее. Ничего более страшного и опасного и сказать было нельзя! Челяднин, видимо, и сам сообразил, что сказал лишнее, но вопрос Басманова не застал его враспloch.

– Ежели ты, воевода, в чем-то усомняешься, спроси про сие самого царя, – невозмутимо ответил Челяднин и опять почувствовал, что вместо злости на Басманова в него невольно закрадывается сочувствие и жалость к нему. «Лихо тебе небось, воевода, – подумал он о нем. – От бояр оттакнулся и к царю пути не сыскал. А веди умен же ты... И в ратном деле искусен. Искал бы себе славу на поле брани, а не в царских покоях».

Пронский закусил губу и тупо смотрел куда-то в сторону: от презрения к Басманову он не мог даже обозлиться на него или позлорадствовать, как другие. После стычки с ним в Можайске, где Басманов принудил его перековать триста дюжин ядер, Пронский отказывал ему даже в ненависти. Он не замечал его и вел себя так, будто того вовсе не было – никогда: ни сейчас, ни в прошлом, ни живого, ни мертвого.

– Продолжи, князь, – мягко сказал Челяднин Пронскому. – Зрю, не всех ты назвал мне. И прости, что перебил тебя, неуместным отвлекшись. Воевода Токмаков виновен в том: уж больно много славных дел сотворил он, чтоб не подивиться ему!

– Окольничий Хлызнев, из рода Колычевых! – кивнул Пронский на молодого, статного, красивого воеводу, во все глаза глядевшего на Челяднина. – В нынешнем разряде идет тысяцким государева полка.

Хлызнев встал – напрягшийся, бледный от волнения, – истово, как праведнику, поклонился Челяднину.

Челяднин давно заметил его волнение и его благоговейный взгляд, которым он смотрел на него. Знал Челяднин, как строптив был и непокорен великокняжеской власти род Колыче-

⁵³ На Успенье – то есть всего несколько месяцев назад: Успенье отмечается 15 (28) августа.

вых. Немногие убереглись в нем от опал и казней. «И сей, поди ж ты, тоже напиган противой, как криничный песок водой, – подумал он про Хлызнева. – Поклон мне отдал, как великому-ченику. И ликует, поди, что душу свою причастил злом на царя. Ну, ликуйте, ликуйте, боярчата, шерьте зубы!.. Достоин он и вашей злобы, и вашей ненависти, да вы не достойны его. Крещены вы в разных купелях, и подле вашей стоял лише Бог, а подле его – и дьявол. Все в нем свято и все грешно. Захватил он Русь за хребет, клыками захватил, – иль сломит, иль кровью захлебнется! Мне бы лишь не дожить до часа того! Не зреть вавилонской жути, не зреть и его отчаянья, коли и Бог, и дьявол отступятся от него».

Хлызнев, поклонившись Челяднину, торопливо опустил на лавку и больше не поднимал на него век, зато тяжелые глаза Пронского, будто пригвожденные к лицу блестящими остриями зрачков, нет-нет и окатывали Челяднина холодом, или вдруг вскидывались от удивления, или жухли от горечи и разочарования. Понимал ли Челяднин, что творилось в душе Пронского, чувствовал ли в себе неожиданные перемены, когда видел его удивление, и признавал ли свое отступничество от прежнего, встречая разочарованный и осуждающий взгляд Пронского? Нет, не до этого было сейчас Челяднину. Все время, с той самой поры, когда за ним затворились ворота Дерпта и ямщик хлестанул лошадей, он жил лишь одним – ожиданием Москвы. Все другое – заботы, дела, обиды, горести, все бывое и все настоящее – заслонило от него, как стеной, это ожидание. Мысли его смешались, как будто кто-то запустил в его голову руку и орудовал там, как в горшке с квашней. Но ведь и мысли его были совсем не такими, как прежде. И настроение тоже было иным: не только радость вез он в Москву в своей истосковавшейся душе, но и свою надломленность, усталость, разочарование... И Пронский, и Серебряный сразу разглядели в нем это и не замедлили показать ему свое неудовольствие. Да он и сам понимал, что огорчает своих старых приятелей. Не таким они привыкли видеть и знать его и не такого ожидали от него. Надеялись небось, что он, лишь выйдя из саней, станет принародно обличать и проклинать царя за свои и чужие лиха, станет противиться и дерзить ему еще пуше, чем прежде, а они за его спиной будут довольно оглаживать бороды и тайно ставить свечки святым угодникам, чтобы уберегли они их от царских опал. Пусть даже и не ждали они от него ничего такого, все равно его приезд был для них торжеством: не только оттого, что царь сдался и без просьб о милости снял с него опалу, но больше оттого, что в их стане опять появился человек, которому они единодушно отдавали первенство во всем и вокруг которого так же единодушно сплотились бы на борьбу против самовластного и строптивного царя. И разочарование в нем было для них не только разочарованием в своих надеждах – его отступничество или смирение было для них тягостным и жутким предзнаменованием безуспешности этой борьбы.

Может быть, Пронский с Серебряным так, с маху, и не сочли Челяднина отступником, но что он им не понравился – они от него не скрывали. Правда, Пронский был не так откровенен, как Серебряный, – сдерживал себя боярин, не торопился судить Челяднина: скорый суд – неправый суд, а Серебряный был горяч, возмутилась его душа, и вот он уже перед всеми выставил свое возмущение, и как ни старался Челяднин не обращать внимания на Серебряного, на это его показное стояние у окна, все-таки не смог этого сделать. Всей своей жизнью, каждым годом и часом, проведенным в изгнании, он мог бы оправдаться перед своей совестью, но он захотел оправдаться и перед Серебряным, даже не оправдаться – защититься, потому что чувствовать к себе презрение всегда мучительно – заслужено оно или нет.

– Петр-князь! – окликнул он Серебряного. – Уж не тщишься ли ты высмотреть в окне дьявола, которому я запродаю свою душу?

Серебряный не успел ответить. В избу вбежал Оболенский и даже не прошептал, а лишь прошевелил губами:

– Царь!

Рынды бросились с фонарем в сени – и не успели. Иван вынырнул из темноты сеней, как из мутной воды. За ним царь Касаевич, Федька Басманов, Васька Грязной...

Воеводы подхватились с лавок, замерли в поклоне. Иван был весел, глазаст... В простой стеганой ферязи, в длинноухой беличьей шапке, в грубых сыромятных сапогах, с плеткой в руке – он был похож на ямщика, молодого, разорного, прогнавшего с маху верст десять по студеному ветру и зашедшего в избу хватить тепла.

Стал, качнулся на упругих, раскоряченных ногах, брезгливо потянул носом.

– Ай загнили, воеводы? – сказал он весело, с издевкой. – Затохоль в нос шибает. Басман, отвори дверь!

Федька ударил в дверь ногой, вышиб ее в темноту сеней. Из-за порога вывалились белые лохмы пара, упали к ногам Ивана, истаяли на черном полу.

Иван поиграл плеткой, обкосил горницу – в глазах смех, на впалых щеках остывающий румянец.

– Не стой сзади! – вдруг свирепо вскрикнул он и, резко обернувшись, хлестанул Федьку плеткой.

Федька без звука убрался в угол. За спиной Ивана осталась холодная пустота сеней. Он кинул плетку Грязному, расстегнул на груди ферязь. Из-под нее, на черном сукне душегреи, блестящими каплями сверкнула серебряная цепь креста.

– Живы, воеводы, здравы? – Он опять обкосил горницу. – Пошто в теми сидите, как мыши? Дать свечей!

Писцы засуетились, затрещали лучинами; рынды откуда-то добыли шандал с полуисплавившимися свечами, понесли его на стол. Поставили прямо на чертеж, выхватили из светца лучину, подожгли свечи. Стало светлей.

Иван увидел Челяднина, удивился:

– Тебя ли зрю, боярин? Уж не чудится ль мне?..

– Так и есть, се я, государь... Слуга и опальник твой, Иванец Челяднин-Федоров. Из Дерпта на поклон к тебе завернул... И в Москву – по твоему ведению.

Иван шагнул к Челяднину, притянул его голову к себе, долгим поцелуем прижался к его лбу.

– Прости! – откинувшись, прошептал он и поклонился Челяднину: из-под расстегнутой ферязи выскользнул крест, болтнулся, ударил его по коленкам. – И молодостью оправдываюсь, и неразумием.

– Государь!.. – напуганный и пораженный, отступил от Ивана Челяднин. – Разве не Бог над нами – горний судия?! Суд царев, а воля Божья! Пошто смущаешь такой смутой и мою, и свою душу?

– Истинно речешь, боярин. Один Бог над нами судия! И кто Богу не виновен – царю не виноват!

Как-то сразу посуровев, Иван отошел от Челяднина к столу, задумался... Рука его легла на чертеж, медленно поползла по нему. Стоявшие у стола Алексей Басманов и Горенский напряженно следили за его рукой, ожидая, когда она остановится. Где остановилась бы рука Ивана, туда и двинулись бы полки из Великих Лук. Но Иван вдруг отдернул руку, словно обжегшись. Горенский от неожиданности вспрыгнул плечами. Иван свирепо глянул на него, не разжимая зубов, процедил:

– Место царю Симеону Касаевичу!

Горенский попятился назад... Иван проводил его взглядом до самой стены и будто пригвоздил к ней своими глазами.

– Не так уж мы велики, чтоб у нас цари под печкой стаивали! Сядь, Симеон-царь... Тут твое место. Будем с тобой думать и воевод моих просужих⁵⁴ расслушивати.

Симеон Касаевич отошел от печки, откинул на спину свой башлык, поклонился Ивану, молча, спокойно сел, положив маленькие красноватые руки на край стола.

– Ну а что князь Андрей? – будто забыв, о чем только что говорил, спросил у Челяднина Иван. – Пошто не поведаешь мне про любимого моего?

– Здрав и бодр князь Андрей.

– Вступил на наместничество с тоской иль с радостью?

– Служба тебе всегда была в радость князю. Сие ты, должно, и без меня ведаешь.

Иван сел на лавку, мельком глянул на воевод, посьежившихся от холода, с усмешкой сказал:

– Затвори, Васька, дверь. Перемерзнут воеводы – не с кем станет в поход идти.

Он снял свою длинноухую шапку, положил ее на лавку. Плечи его устало опустились.

– Чел я ныне в ночь, – заговорил он глухо, затягивая слова, отчего речь его казалась даже скорбной, – и перечел трижды сказание о князьях наших великих володимерских. И преисполнилась душа моя гордостью, воеводы, пред величием предков наших... Помните, воеводы, как писано там: егда сед в Киеве на великое княжение князь Володимер Мономах и начал совет творити со князи своими, и с бояры, и с вельможи, слово тако рече: «Князь великий Олег ходил и взял со Царяграда велию дань на вся воя своя⁵⁵, и потом великий князь Всеслав Игоревич ходил и взял на Константине граде тяжчайшую дань...»

Иван вдруг смолк. Воеводы вытянули шеи... Симеон Касаевич, ничего не понявший из сказанного Иваном, еще пристальней вперил в него свои поблескивающие щелки и от усердия открыл рот.

Иван обметнул воевод испытывающим взглядом, лукаво спросил:

– Кто продолжит, воеводы?

Воеводы враз втянули шеи, завертели глазами, поглядывая друг на друга так, словно каждый уступал другому честь говорить первым.

– Не почитаете вы, бояре и воеводы, книг, – с издевкой протянул Иван. – А веди еще в Изборнике великого нашего князя Святослава речено: «Добро есть, братие, почитанье книжное, паче всякому христианину. Красота воину – оружие, а кораблю – ветрила, тако и человеку почитанье книжное!»

– Хе!.. – ощерился из угла Федька Басманов. – Пронскому крест на грамоте в тягость, а ты ему про книги!

Пронский ожесточенно сопнул, словно старался втянуть в себя весь воздух, который был в горнице.

– Такое лише от тебя могу терпеть, государь, – надрывно выдавил он.

– Вот и внемли сему так, будто я тебя укорил, – хохотнул Иван. – Симеон Касаевич – татарин, а русской грамоте выучен.

Симеон Касаевич закрыл рот, а щелки его глаз стали еще уже – он смеялся. Иван тяжело посмотрел на его веселый прищур, жестко сказал:

– Татарин смеется над тобой, Пронский! Эх! – выстонал он истомно и крикнул: – Сгинь с моих глаз!

Пронский метушливо хапнул с лавки свою шубу, уронил, снова хапнул и, не надевая, потащил за дверь.

– Так что ж, бояре и воеводы, – враз успокоившись, спросил Иван, – никто не продолжит?

– Велишь, так я продолжу, – сказал Челяднин.

⁵⁴ Просужих – умелых, талантливых.

⁵⁵ На вся воя своя – на всех воинов своих.

– Велю!

– Великий князь Володимер Мономах споведал своим князьям, и боярам, и воеводам, что дело прародителей своих и отца своего Всеволода Ярославича продолжить тщится, и спросил у них: «Каков мне совет воздаете?»

– Истинно, боярин! Радуюсь тебе! Продолжай далее, ежели помнишь.

Челяднин продолжил:

– И ответили великому князю Володимеру Всеволодовичу князья, и бояре его, и воеводы, изрекши так: «Сердце царево в руке божий, яко есть писано, а мы есмя вси рабы твои под твоею властью!»

– Сердце царево в руке божий! – вскочив с лавки, громко повторил Иван и метнулся вдоль стола, чуть не загасив свечи в шандале. – А мы есмя вси рабы твои под твоею властью! Вот, бояре и воеводы, чем сильны и могутни были наши предки... Купностью и согласиём! Вы же речете мне: «Веруем в веру, юже предаша нам отцы наши», – и противитесь мне! В думе вопите юродных пуще, воззывая укротить меня святым крестом!

Иван встал за спиной Касаевича, положил ему руки на плечи, губы его злобно подергивались...

– Укорительные и гневные послания шлют обо мне, царь, чернцам убогим по монастырям и скитам... О кривине суда царского печалуются, о поругании невинных! Кары Божьей на меня просят!

– Башка долой надо, – сморщив лоб, сказал Касаевич.

– Я же терплю, царь, не гоню их прочь с глаз моих... Разве самых никчемных... Совокупляю их и реку по обычаю прародителей моих: «Каков мне совет воздаете?»

Иван помолчал, пережидая приступ злобы, поспокойней спросил:

– Каков же совет вы мне воздаете, бояре и воеводы?

– Да надобен ли тебе наш совет? – вопросом на вопрос ответил Шуйский. – Сдается нам, государь, что ты давно уже все сам порешил и не нуждаешься в наших советах.

– Порешил, – резко сказал Иван и как будто что-то оборвал, убил в себе. – Завтра от заутрени выступаем. На Полоцк! С Большим полком пойдет Басманов... со мной и князем Володимером. При нас воеводы Бутурлин и Морозов – со смоленской ратью! – Иван приостановился, нашел глазами Серебряного, жестко сказал ему: – Ты, Серебряный, пойдешь левой рукой⁵⁶. При тебе дружина князя Володимера – с Пронским. Правой рукой пойдет Шуйский. При нем Щенятев. Передовой – тебе, Токмак. Вторым воеводой возьми Оболенского. С тобой татары и черкесы. Но ты им не указ: их Симеон ведет с царевичами. Татарам на приступе не стоять. От Невеля выпущу их в набег.

– Карашо погуляю! – сморщился Касаевич.

– Под тебя, Горенский, сторожевой отдаю!

Горенский на радостях от такой чести подобострастно поклонился Ивану.

– Басманов добро про тебя говорил, – приняв поклон Горенского, мягко сказал ему Иван. – Изведаю сам: Басманов мне не порука! Нерадивости не оставлю... Никому! Слышите, воеводы?! – Глаза его встретились с глазами Челяднина. – А тебе, боярин, – в Москву! Ведать тебе Казенным двором.

3

На пир к князю Владимиру Челяднин приехал, когда уже втретее обнесли пирогами. Князь сам вышел из-за стола к нему навстречу, расцеловал, отвел к своему столу, усадил рядом с

⁵⁶ Левой рукой – возглавлять полк левой руки. Войско состояло из Большого полка, полков правой, левой руки, передового и сторожевого.

собой. За княжеским столом, по левую руку от князя, сидели лишь Пронский да княжеский духовник Патрикий, по правую руку Владимир усадил Челяднина.

Княжеский стол стоял на возвышении. У стола – лавка со спинкой, покрытая мягким ковром. По всей горнице тоже ковры – на стенах, на полу... Горница жарко истоплена, вся в свечах. Множество слуг...

Челяднин не ожидал такой пышности. Глаза его удивленно обежали горницу... Ниже княжеского стола, вдоль стены, стоял другой стол, длинный, под белыми скатертями, уставленный дорогой посудой, – за ним бояре и воеводы: все, кого нынче днем Челяднин видел в Разрядной избе. Не было только Басманова и Токмакова. Басманов, должно быть, и зван не был, Токмакову же нынче припало забот больше всех – передовой полк получил под свое начало, а на таком воеводстве не до пиров: везде и во всем нужно быть впереди.

– Чашу боярину! – повелел князь Владимир. Княжеский кравчий поставил перед Челядниным серебряную чашу, зачерпнул из ендовы, сверкавшей позлащенными выворотами краев, полный черпак вина и наполнил боярскую чашу.

Слуги понесли на стол жаровни, поставили на них блюда с мясом – запахло пряностями, пригаром и терпким ольховым чадом, шедшим от вздутых углей жаровен.

– Князья! Бояре! Воеводы! – тихо, но торжественно сказал князь Владимир. – Нынче мы при великой радости! Славнейший родом, умом, почтеннейший ваш боярин, твердость которого преисполнила нас пушей любовью к нему, снова с нами! И мы изопьем в его честь наши чаши до самого дна, до последней капли, так же, как испил свою горькую чашу наш дорогой подружник!

Владимир встал, поднял чашу.

– Здравье боярину! – почти выкрикнул он и первым осушил свою чашу.

Челяднин только пригубил... Пронский переглянулся с князем Владимиром: он, должно быть, уже успел кое-что порассказать князю о первой встрече с Челядниным и теперь только ждал доказательств своим рассказам.

За боярским столом виночерпий опять наполнил чаши. Тяжело поднялся Шуйский. Он уже был изрядно пьян, и наполненная до краев чаша расплескивалась в его руках.

– По княжьему слову испили мы заздравную чашу... Сию же, бояре и воеводы, осушим за то, чтобы горькая чаша, испитая нашим подружником, не истяготила его горьким похмельем! Прежним хочу видеть тебя, боярин, и за прежнего пью сию чашу!

Челяднин опять лишь пригубил свою чашу и, не став ждать должного по обычаю троекратного величания, встал и невесело начал говорить в ответ:

– Отраднo мне ваше почтенье ко мне, бояре! И честь, которую ты, князь, оказал мне, також в радость и в гордость мне... И всем вам, гляжу я, також в радость сие вольготное гостивство и княжья тчивость⁵⁷... Так пошто же, бояре и воеводы, мрачить и мою, и вашу радость недобрыми поминаньями?! Старое минулось, оно за плечьями, новое перед очами!

– Нет, не минулось старое, добр боярин, – сдавленным голосом проговорил Пронский. – Ужли минулся ты? Ужли минулся князь Горбатый? Воротынский? Ужли минулась Русь, где от искони обретались в чести и благополучии наши предки?

– Укорительны твои слова, князь Пронский, но пошто обращаешь ты их ко мне? Неужто царская опала должна вечно лежать на мне, дабы в тебе не учиняло скорби поправление исконных устоев? Перейми ее на себя и утешься.

– Неблагорассудны вы, бояре, – тихо промолвил Патрикий. – Пыха⁵⁸ и усобные зазрения суть губители ваши. От них все напасти...

– О душах бы наших молился, чем обличать-то! – досадливо бросил Пронский.

⁵⁷ Тчивость – щедрость, великодушие.

⁵⁸ Пыха – гордость, чванство.

– О душах ваших аз молюсь непрестанно. И едина мольба моя к Богу: совокупить вас. Есть бо премудрая притча: в густом былии коса вязнет, и вязана в веник лоза не ломится.

– На свете премудростей вельми много, святой отец, – усмехнулся Челяднин, – да знать бы, коей держаться?

– То верно! – буркнул Пронский.

Патрикий скорбно, с сожалением вздохнул и кротко потупил голову. Князь Владимир с неодобрением посмотрел на Пронского, но тот даже глаз не смутил под княжеским взором. Он выжидающе смотрел на Челяднина.

Челяднин стоял как перед судом – жестоким и лицемерным, готовым осудить его за то, за что он сам с большим правом мог судить своих судей. Ни оправдания, ни просьбы, ни даже раскаянья не колеблют жестокой предвзятости такого суда, и он не стал оправдываться, не стал говорить обо всех тех суровых истинах, до которых и сам-то дошел лишь под конец своей жизни, – эти истины здесь никого и ни в чем не могли убедить, ибо каждый здесь верил только себе, себе одному, и, сойди с небес сам Иисус Христос, стань перед ними и начни их вразумлять, они скорее смогли бы вновь распять его, чем поверить ему и согласиться с ним. Он стал обвинять – без зла, но сурово, с гневным достоинством.

– Не спуста молвится, бояре: что в сердце творится – на лице не утаится. Зрю я ваши лица и разумею ваши сердца. Окручинились они и смутились. А все через что? Через что не глядишь мне в глаза ты, Шуйский? А ты, Петр-князь? Не через то ли, что я, боярин Челяднин-Федоров, целован царем и Казенным двором пожалован?!

Замерли руки у воевод: оставили они хренницы, солонки, ножи, ложки, понапружили плечи и шеи, стромко выгнули спины, будто под зад им метнули иголок. За их спинами с подносами и блюдами над головами, как ангелы с поднятыми крыльями, замерли слуги.

– ...А буде, иное что смутило ваши души, бояре? Отступником мните меня? И готовы судить? Но судья мне лише Бог и моя совесть, но не вы, бояре! Ибо нет среди вас никого, кто сказал бы, что более, чем я, был гоним и унижен и стоял на своем тверже, чем я!

– Тех уж нет, кто сказал бы тебе и стал вровень с тобой, – тяжело выговорил Пронский.

– И в том вы повинны, бояре! – Челяднин выждал, чтоб каждый прочувствовал его слова: в них было больше, чем обвинение. В них была боль, в них была скорбь – такая боль и скорбь, что даже самых возмущенных и самых несправедливых его порицателей они должны были обернуть против самих себя. – Вы всё лукавили, за чужую спину хоронились... Мнили, что отсидитесь, что обойдет вас беда! Мнили, отведет он душу на самых дерзких и непокорных и уймется...

– Побойся Бога, боярин! – вскинулся Шуйский. – Пошто вину такую на нас возлагаешь?

– Вы сами возложили ее на себя! И ежели у Бога просите кары на него, просите кару и на себя!

– Остановись, боярин! – встревоженно поднялся со своего места Серебряный. – Остановись, Иван Петрович!

Серебряный перешагнул через лавку, оттолкнул стоявшего за его спиной слугу, торопливо прошел через горницу к княжескому столу.

– Не в место такие речи, боярин, – сказал он тихо Челяднину. – В избе сучков много...

– Доноса страшишься, Петр-князь?

– Страшусь!

Челяднин уныло покачал головой, посмотрел на Пронского, на Патрикия, на князя Владимира...

– Нет среди нас доносчиков! – грохнул по столу Шуйский. – Нет! Скажи ему, князь! Незачем нам продавать свою душу дьяволу! Незачем! – гневно потряс он растопыренной пятерней. – Злата и серебра в сундуках наших вдоволь, а то, что мы тщимся иметь, он не отдаст нам и за наши души!

– Ты хмелен, воевода, – сказал осторожно Серебряный. – Стать бует в тебе... Но послушай: нынче в Разрядной избе царь, при всех нас, слово в слово повторил весь мой гнев, что излил я однажды в думе.

– Эх и срам-то какой, воеводы! – возмущенно потряс руками Бутурлин. – Мы, как овцы в хлеву, поподжали хвосты и не волка страшимся, а друг дружки. Ты, Серебряный, больно нюхлив! Как кобель!

– Поостерегся бы, воевода, таковыми словами кидаться!

– Ты эк, мил князь, не стерегся, коли нас в доносчики поверстал!

– Будет! – снова трахнул с яростью по столу Шуйский. Попадали на пол кубки, послетели с жаровен блюда... Шуйский уперся руками в стол, решительно сказал: – Говори, боярин! Говори все, что есть на душе! Не страшись никакого доноса! Все мы связаны тут единой нитью. Тот, кто первым пойдет доносить, будет токмо последним на плахе.

– Не мне учить вас, бояре, – грустно вымолвил Челяднин, – вы все умны на свой лад... Токмо знайте: смутное и страшное время заходит. Как гроза ополночь. Чем она изойдет – никто не ведает. Один Бог... А та сила, что грозу ту нагонит, уже рвет бразды из наших рук. И не малец уже на престоле, на коего стрый⁵⁹ твой, князь Шуйский, поглядывал с неудовольствием, коли тот вертелся у него под ногами в царских покоях. Царь на престоле! Царь, бояре!.. И не от блажи отроческой венчал он себя царем... Посягнул он на столь высокое, что нам с вами туда и взора не кинуть. Отец его, великий князь Василий, в такие годы токмо-токмо из-под руки отцовской вышел, а сей – задумайтесь, бояре! – власть свою уж простер от татар до немцев. Кто еще из князей московских был столь яр и упорен?!

– Одержим он бесовской страстью, – обронил Патрикий.

Серебряный, все еще стоявший возле княжеского стола, так весь и вытянулся от слов Патрикия, будто схваченный судорогой.

– Укроти свою дрожь, воевода, – сказал ему устыжающе Пронский. – У князя слуги глухи.

– Так вот мое слово, бояре и воеводы, – чуть возвысил голос Челяднин. В глазах у него, глубоко под зрачками, затлелся горделивый огонек. – Сию чашу я пью за царя!.. Ибо пусть даже он одержим и бесовской страстью, все едино он нам всем не чета! Ныне, в веке сущем, нет на Руси иного, оприч него, кто так крепко управился б с властью!

– Пить за царя?! – удивился до возмущения Пронский. – Как ты можешь пить за него, когда посажен в темницу Бельский?.. Когда изгнан в сослание Воротынский?.. А сам ты не вдоволь, что ль, лиха хлебнул?!

– Не за того я пью, по воле которого изгнан в сослание Воротынский, не за того, который держит в темнице Бельского... Я пью за того, кто привел в свою волю татар и немцев, кто добыл Казань, Асторохань, Феллин, Дерпт, Нарву и добудет Полоцк!

4

Воеводы стали разъезжаться с пира, не добыв и до пятого кушанья, хотя на всех прежних княжеских пирах, которые он устраивал чуть ли не каждый день – благо, закончился рождественский пост! – досиживали до последнего – до похлебки.

Лишь только обнесли жареными карасями в грибах и стерляжьим студнем с печеным луком, вылез из-за стола и откланялся воевода Морозов. Лицо его лоснилось – не столько от жары и выпитого вина, сколько от стыдливой испарины. Стыдно было воеводе показывать свою трусость... Хоть и пил он вместе с Челядниным за царя, и речей крамольных не говаривал, но лучше быть подальше от греха. Как все обернется – поди узнай! Сам-то он доносить не собирался и в мыслях такого не держал, но за других – где порука? Чужая душа – потемки.

⁵⁹ Стрый – родственник, дядя по отцу.

Донесли же на Серебряного! А ежели царь прознает про нынешние речи, никому не минется – ни говорунам, ни слухцам. Ему так и подавно защиты не у кого искать. За Шуйского да за Пронского все именитые встанут, вся дума заропщет... Да и царь гневлив и крут, а с разбором: на исконных, на Рюриковичей, лишь замахивается, а головы летят у таких, как он. Нет уж, своя рогожа чужой рожи дороже!

Вслед за Морозовым поднялся Щенятев. Во весь вечер ни слова не вымолвил он, и только один виночерпий замечал его за столом. Щенятев всегда был молчуном, но, когда его обделяли местом, как сегодня – в Разрядной избе, тогда он молчал, как Христос на голгофе. Все знали за ним эту странность, но за труса его никто не знал. Бесстрашие Щенятева было ведомо всем, и всем было в зависть: кому в добрую, кому в худую. Доброй завистью он не тешился, от худой не страдал, ибо и самым злым своим завистникам не давал повода для злословия и насмешек: он не боялся ни смерти в бою, ни царя в миру, ни всех своих завистников и врагов. Оттого-то и царь его не миловал! Нынче и полка ему не поручил – Горенскому отдал, который по всем статьям был ему не в версту.

Удивились воеводы, когда увидели, что Щенятев откланялся князю Владимиру. Удивление быстро сменилось тревогой. Щенятев своим неожиданным уходом вконец переполошил их: раз уж и у Щенятева не хватило духу, значит, зарвались, наворотили такого, о чем и вспомнить будет страшно.

– Ишь, баловес! – засмеялся Шуйский. – Пошел на конюшню с конем говорить. У него всегда так... Душу отводит токмо с конем.

Только смех и объяснение Шуйского никого не успокоили. Воеводы заерзали, завздыхали, стали по одному вылезать из-за стола, кланяться князю... Тот никого не удерживал. Он, видать, и сам был рад их уходу: молча принимал поклоны, молча провожал глазами до двери.

Когда за боярским столом вместе с Шуйским остались лишь Оболенский и Серебряный, Шуйский зачерпнул из енды полный черпак вина и, не переливая его в свою чашу, хлопбыстнул одним духом, как будто выплеснул за спину. Отдышавшись, лениво зевнул, натуженно выжевал искореженным ртом:

– Разбеглись... Се их Щеня распужал! Он на конюшню, а они под образа! Ну хрен по хрену! Мы Рюриковичи, князь! Мы как персты в кулаке! – Он сжал кулак, повертел его перед своими глазами, показал князю Владимиру – тот ободренно улыбнулся. – Нас нелегко одолеть! А тем овнам словесным он споро хребет сломит!

– Я всегда помню, что вы, Шуйские, меня с матушкой из темницы вызволили, – сказал льстиво князь Владимир. – Матушка ежелет на помин сродников твоих в Свято-Троицкий монастырь вклад делает.

– Отец твой помер в цепях – вот жаль! – вздохнул Шуйский. – Смелой души человек был князь Андрей! Не доверься тогда он Елене... На слово ее...

– Не против престола шел – оттого и доверился, – сказал Челяднин. – Себя оборонить хотел.

– Не против престола? – Шуйский долгим взглядом уперся в Челяднина. – Пошто же сразу к ее ногам не притек? Не доверился Богу и судьбе? Рать поднял?! К новгородцам пошел?! – Елене он верил, – ответил Челяднин. – Любимцев ее страшился. Телепнев больно ко

многому руки простер тогда... А Елена Телепневу благоволила.

– Благоволила?! – скабречно ослабилась Шуйский. – На постелю к себе брала!

– Батюшка мой не искал вреда престолу, то истинно, – сказал свое слово и князь Владимир, но видно было, что сам он так никогда не думал, а только повторил слова Челяднина.

– Эка заладили! – Шуйский тряхнул головой, взял с блюда кусок мяса, запустил в него зубы...

Все молчали: Челяднин – устало, князь Владимир – растерянно, Патрикий – выжидающе, Пронский – угрюмо и тупо, как грозный страж, приставленный к великой тайне. Молчал Серебряный, молчал Оболенский – всем им разбередил душу Шуйский.

В наступившей тишине громко раздавалось его яростное чавканье. Виночерпий плеснул ему в чашу вина. Шуйский запил, утер ладонью замасленные губы, зло обкосил Серебряного и Оболенского.

– Твой сродничек, Серебряный, и твой, Оболенский, все сие устроил! Не вздурись он властью, не собери полки против князя Андрея... Да что – полки?! Не завлеки он лукавством его на Москву, посулив Еленино прощенье, быть бы Старице крепкою вотчиной! Эх! – Шуйский закинул руки за голову, выпятил грудь, блаженно вздохнул. – Сел бы я на коня да и отъехал к иному господарю! Как бывало ранее, при дедах и прадедах: не сдружился с московским князем – отъехал к тверскому... А с тверским не поладил – к ярославскому!

– Оттого-то и пировало на Руси всякое воронье: то печенеги, то половцы, то татары! – холодно заметил Челяднин.

– Сие верно, боярин, – так же холодно согласился Шуйский. – Ну а ныне пируют Темрюки да лапотники! А мы, Рюриковичи, – соль от соли, мы – корни и ветви великого древа, что зовется Русью, смотрим, терпим и ждем топора. Топора! – крикнул он и вдруг сник, будто что-то сломилось в нем – какая-то подпора, на которой все это время держались и его злость, и негодование, и трезвость. Борода его распласталась по кафтану, придавленная поникшей головой, руки упали куда-то вниз, будто вовсе оторвались, даже казалось, что он и сам вывалился из кафтана, оставив на шелковых завязках проймы только одну голову.

– Что же, пора и честь знать, – сказал, поднимаясь из-за стола, Челяднин. – Вам от заутрени – в поход, мне – в путь. Славной победы желаю вам, воеводы, и да убережет вас Бог от шальной беды! В живе и здраве хочу узреть вас всех на Москве. Тебе, князь, великая благодарность и низкий поклон за гостеприимство! – Челяднин низко поклонился князю Владимиру. – За честь, за величанье – також!

– Путь твой – на Ржев, боярин, – сказал Челяднину Владимир. – Не обмини Старицы... Заверни, поклонись матушке. Скажи, Бог дает, в здраве я и в печали о ней. Пусть молится обо мне... и женишке передай мой поклон, и слово любезное, и печаль мою о ней. Дело, скажи, ратное захватило меня. Поуправимся с крепостью – на рысях прискачу. И еще скажи: царской милостью я сполна одарен и с ним вместе на крепость иду. Пусть молятся обо мне!

5

Челяднин подъезжал к Москве по Можайской дороге. Ночь он отночевал в Звенигороде – у городского наместника, а утром чем свет отъехал на Москву.

С радостью и облегчением проводил его со своего подворья звенигородский наместник. Отлегло у него от души: думал, небось, загостится опальный боярин... Трусил наместник, берег свою голову. Знал он добрую старую заповедь: не лезь зерника меж жернова, и жил по этой заповеди. Да Челяднин и не обиделся на негостеприимство наместника, подумал лишь с горечью, отъезжая: «Застрашал царь-батюшка! Уж и гостеприимством бояться провинить!»

Покидая Звенигород, Челяднин прежде заехал в монастырь Савы Сторожевского – поклониться Спасу Нерукотворному...

Знаменит был сторожевский Спас. Написал его лет полтора назад московский иконописец Андрей Рублев по слову самого Савы Сторожевского, основателя и первого настоятеля монастыря, и пошла с той поры по всей Русской земле молва о добром Спасе звенигородском, который одним своим взглядом приносит людям радость и утешение.

Впервые увидел Челяднин эту икону лет сорок назад, когда сопровождал отправившегося на моления по подмосковным монастырям великого князя Василия, отца нынешнего государя,

и с тех пор уже ни разу не преминул Звенигорода, не преклонив головы перед поразившим его образом.

Могучей, не человеческой, но и не божественной добротой оживил глаза Спасу Рублев. Он смотрел с иконостаса пытливо и чутко, но спокойно, не осуждая и не грозя; как будто забыв о греховности рода человеческого, образумить и возродить который он был призван. Пытливость его тоже не была той страшной, всевидящей пытливостью, от которой сникают и потупляются души. Он допытывал мирно и ласково, как допытывают о боли, чтобы унять ее.

Все самое сокровенное тянулось из души на зов его чутких глаз: унималась ненависть, никло зло, исчезали обиды, сомнения, страхи, душа очищалась легко и свободно без долгих молитв и взываний. Глаза Спаса пророчили радость, большую и светлую радость – и в этом, в ином мире, которому он один был и провозвестник, и свидетель. Смятенный дух и сознание оживали пред его доброй и мудрой неколебимостью, и за ней, как за неразрушимой защитой, нарождалась в успокоенной и освобожденной душе собственная сила – сила восторжествовавшего добра.

Этим-то и влек к себе Челяднина рублевский Спас. Он никогда не видел в нем Бога, он видел в нем человека и приходил к нему как к человеку, порой будучи не в силах осенить себя перед ним крестом.

Последний раз он приходил к нему десять лет назад – изгнанником, отверженным... Всю свою злобу, ненависть, всю свою боль, тоску, отчаянье принес тогда он пред его глаза, и они помогли ему выстоять, помогли сохранить надежду и веру в свою правоту.

Теперь он принес к нему свои сомнения, разочарованность, уныние... О многом он хотел поведать Спасу, от многого избавиться с его помощью, во многом утвердиться.

...Все тот же чистый взгляд, уверенный, чуткий, и все та же нерасторжимость силы и добра в его спокойствии, над которым ничто не властвовало в этом мире.

Челяднин стоял замлевший, не чувствуя ни рук, ни ног... Он словно приподнялся над собой, оставив на холодных плитах храма всю тяжесть своей души, скопившуюся в ней за долгие годы изгнания. Сквозь жухлый мрак, лишь чуть разжиженный редкими свечами, на него смотрели глаза, которые теперь еще сильнее, чем прежде, казались ему живыми.

За его спиной тихо молился монах, приведший его в храм. Челяднин повернулся к монаху, со страхом сказал:

– Отче, грешен я... Не могу пред ликом его крестом осенить себя.

Неожиданное признание Челяднина словно бы смутило монаха. Он прервал молитву, поднял глаза на икону, долго, неотрывно смотрел на нее.

За алтарем, под крутыми сводами, сырой холстиной висел мрак. Тишина и покой стерегли каждый шорох.

– Разумею тя, сын мой, – неожиданно громко промолвил монах, словно хотел отпугнуть эту прислушивающуюся тишину. – Став послушником, поперву також неволил себя... Грешною мыслию терзался, что – не Бог он... Ликом, истинно, он человек. Грешно крест пред человеком возносить. Но потом уразумел всей душой своей, аки доступно уразуметь пребывающему в мире оном, что он бо и есть истинный Бог, иже на небе и в душах наших.

– Просвети, отче!..

– Пред ликом его, сын мой, душа яко бы вновь нарождается: вся худь и скверна вон исторгаются из нее, остается добро, и свет, и радость велия.

– Истинно так, отче... Дух ободряется, будто к свету приходишь. Доведи, отче, сила какая в нем?

– Сам како мнишь?

– Мысли мои неясны, отче... Мню, мастера искусность тайная.

– Оные образа искусней писаны: колер паче леп, золото чище... Святой Петр, митрополит московский, писал многие иконы святые, видом чудные... Святой Феодор, архиепископ

Ростовский, писал також многие иконы чудные... На Москве обретается его письма икона – деисус, у святого Николы на Болвановке. Доводилось тебе ее зреть?

– Доводилось, отче... Чудный образ!

– Вельми искусный, преславный Феофан, родом гречин, расписавший церкви каменны по градам заморским и русским... На Москве им расписана Благовещения святой богородицы, Святого Архангела Михаила да Рождества Богородицы. Стоял ты пред теми росписями, сын мой?

– Стоял, отче... Многожды стоял. В отрочество, в юность и в зрелость.

– Тако ли ты очищал вид их?

– Не так, отче...

Монах вдруг как бы смутился, задумался. Лицо его стало еще суровой и холодней. Глаза засветились тревожными сполохами, словно его напугал ответ Челяднина.

– Греховное глаголем мы, сын мой... Да простится нам ныне и присно!

– Что же греховное, отче? – спросил растерянно Челяднин.

– Всякий образ очищает, сын мой. Мы же искусились противным. Прости нас, Господи, и помилуй!.. Дабы впредь не впасти нам в греховное, сын мой, аз буду лише глаголить. Ты смолкни и внимай.

– Как велишь, отче.

– Внимай, сын мой, да поможет мне Бог изречь истину. Не тайная искусность мастера делает сей образ таковым, сын мой, но богодухновенность. Да, сын мой, богодухновен образ Спасителя, писанный преподобным отцом Радонежским, Рублевым в прозвании. Его десницу, яко и десницу Моисея, составившего нам святое писание, направлял сам Господь. Блаженны чистые сердцем, как писано, им дано лицезрение Бога. Блажен и чист был преподобный отец Ондрей... Все в нем стремилось к Богу и принадлежало Богу. Он жил и творил во имя Господне. Он ничего не придумывал. Придумывает угождающий... Он созерцал горнее и поднялся до сего горнего, кое есть предел всего сущего.

– Чудно сие, отче! Трепетом меня объяла твоя повесть. Разумею теперь незабвенность его имени.

– Бог уберег его от забвения, сын мой. Не озари его Господь своим светом, не написать бы ему сего образа, как и иных, сему подобных. И не возросла бы о нем молвь велия, и не восстал бы он так высоко надо всеми искусными и мудрыми. Ныне в Стоглаве уложено: «Писати иконы с древних переводов, како греческие иконописцы писали и како писал Ондрей Рублев». Обаче, сын мой, живи он о сих⁶⁰, не статься бы его великим писаниям. Ныне избранному не возмогша принадлежать лише Богу. Ныне сильные и предержащие власть душу и просуг его под себя имут – нудьмо, иль златом, иль ухищрением дьявольским. Оттого-то и несть на Руси теперь столь великих творителей. Есть угождатели, притворники, сребролюбцы да бедники, нищие духом... Тщатся достать бессмертия, угождая не Богу, а господину. Но не любовь к господину должна подвигать творителя, ибо будет он раб, и не любовь к ближнему, ибо будет он слеп, и не любовь к отечеству, ибо родные кущи затмят в ней веру.

– Как же, отче?.. – растерянно глянул на него Челяднин. – Помилуй Бог! Любовь к отечеству?!

– Истинное отечество – вера, сын мой. Толико ею должен жить творитель, ею питаться... Любовь к славе и злату делает его слабым, жажда райской обители – бесстрастным, понеже людская бесстрастность и беспорочность единообразна, яко нетекущие воды озера. Феофан был могуч в письме, вознесен надо всеми искусностью рук своих, да не чужд был он славы и злата. Имя свое высоко воздвигал, честь свою держал ревниво, через то не дано ему было горнее, ибо что высоко в человецех, мерзость есть пред Богом.

⁶⁰ О сих – в это время.

– Разве просуг – не дар Божий? Как же Господь обрекает его забвению?

– Господь одаривает и зрит – камо дар его смертный простой устремляет? Ко его ли божественным высям, брега и лелея в душе своей ниспосланную ему благодать, иль на пристяжание земных радостей? Пристяжателей Господь обрекает. И обличающих обрекает. Несправедливы бо суть они. Злых – наказует, ибо зло творителя есть оружие для злых. Добрых – развенчивает, ибо истинное добро в руце Божией. Мнозе призванных, яко писано, мало же избранных.

Монах вдруг смолк, опустил голову, пряча глаза... Омраченность своей души он не хотел выказывать ни Богу, ни человеку.

– Пошто рек мне о сильных, ведая, что я боярин? – тихо спросил Челяднин.

– Не тебе рек, сын мой, – Богу. Ты – боярин, обаче сила твоя не в том. Сила твоя в разумении Бога. К Богу придешь ты...

– Пошто речешь так?

– Вижу тя... Душу твою.

– Имя мое знаешь?

– Не ведаю имени. Имя твое – от людей, душа – от Бога. Имя может быть высоким, душа – низкой.

– Спаси Бог тебя, святой отец!

– Пошто благодарствуешь? Не лестью одариваю... Душу твою узрел пред ликом его. Не сокрыта от глаз его нечистьбы и двудушия. Притворник жалок пред ним, чистый – просветлен.

– Не чист я, отче...

– Истинно, сын мой... Наиблаг токмо един Бог. Помолимся, сын мой, во имя его, да спасет он нас.

Монах принялся усердно молиться. Челяднин тоже прочел молитву... От скопившейся в храме тишины позванивало в ушах – это отвлекало Челяднина. Молитва его получилась нестройной, с пропусками. Он укорил в душе сам себя, сосредоточенно, слово в слово повторил молитву.

Монах словно забыл о нем. Челяднину хотелось попрощаться с ним, но отрывать его второй раз от молитвы он не решился. Тихо отступил, последний раз посмотрел в глаза Спаса – они истоиво, как благословением, осенили его спокойствием.

6

Время клонилось к полудню. Оттепель расквасила дорогу, и лошади шли тяжело, то и дело сбиваясь на шаг, а Челяднин все торопил, торопил своего возницу.

– Да уж не даю им, борзым, передыху, – оговаривался по-доброму возница.

– Погоняй, погоняй!

– Эка докука! Верст-то десять, не боле...

Возница вез боярина от самых Великих Лук и давно приноровился к его покладистости. Мог и поворчать, и посамовольствовать – все сходило ему с рук. Даже советы решался давать, которые Челяднин, так же как и его ворчание, принимал со спокойным молчанием.

– В деревеньку бы звернуть – поснедать?

– Погоняй! Не помрешь за десять верст.

– А деревенька-то ладная! Видать, дворовая⁶¹. Наши, великолуцкие, тожа кадась ладными были... Нынеча совсем зануждались. По дву раза на году походы, и все через Луки. Последний хрен без соли доедаем!

Челяднин не слушал возницу; закутавшись в шубы, полулежал на войлочном приспинье саней – напрягшийся, зоркий, нетерпеливый...

⁶¹ Дворовая – принадлежащая двору; личные владения царя.

По дороге тянулись обозы – в Москву, из Москвы... Возница не пропускал ни одного встречного.

– Эй, москвиты! – кричал он задорно. – Почто Москву отодвинули? Еду-еду – не доеду!

– К доброму гостю Москва навстречу катится, а от худого – пятится! – отвечали обозники.

Челяднин вздрагивал от громких выкриков возницы, отрывался от своих мыслей, начинал смотреть на дорогу, на заснеженные поля, гладкие, как натянутый холст... На их вылощенной глади лежал слабый отблеск тускло проглядывающего сквозь облака невысокого солнца. Иногда свет его прорывался сквозь тусклую завесу, освещал далекий оком, и становилось видно, как с неба, будто с горы, скатываются за его пологий край тяжелые глыбы облаков.

Дышалось легко: оттепельный воздух был жесток, но свеж и как будто слегка хмельноват. Челяднин смаковал каждый вдох. Приятная истома отяжеляла все тело. Не хотелось поднимать даже век, но мысли работали напряженно: думал о царе, о его неожиданной перемене к нему, думал о Курбском, о его отчаянье и страхах перед царем, думал о князе Владимире, о его матери – княгине Ефросинье, с которой свиделся в Старице, заехав туда по просьбе князя. С княгиней он проговорил чуть ли не всю ночь. Раньше ему никогда не приходилось говорить с Ефросиньей, и видел-то он ее мельком всего несколько раз: за мужем, князем Андреем Старицким, жила незаметно, а после смерти его, когда вышла из темницы, вовсе затворилась в Старице, не выезжая даже на богомолье.

Последний раз он видел ее лет пятнадцать назад, на царской свадьбе. Тогда она всех привела в ужас, явившись на свадьбу с распущенными волосами. Все знали, что после гибели мужа Ефросинья дала обет до конца своей жизни быть в волосах⁶², и все восприняли это не только как горькую странность ее души, но и как тайный вызов царскому дому, бунт против которого и привел к гибели князя Андрея. Однако никто не думал и не ожидал, что Ефросинья посмеет и в открытую так дерзко повести себя.

Челяднин помнил, как при венчании Ивана на царство – незадолго до его свадьбы – митрополит Макарий отстранил Ефросинью от поднесения ему царской цепи – из-за ее распущенных волос – и как просил потом, на свадьбе, убрать под убрусник волосы и не омрачать царю радости напоминанием о жестоком зле, к которому он не был причастен.

Как тогда ответила Ефросинья митрополиту?! Помнит Челяднин ее страшные слова:

– Церковь святая печалуется о клятвопреступниках! Не потому ли, что сама благословила их злодеяния?!

Омрачился митрополит, так омрачился, что и отвечать на ее злое нареkanie не стал, только перекрестил ее молча, словно отпускал ей грех или открепивался от ее кощунственного взбрeдения.

Дары свадебные подносила – волосы по плечам, в глазах стылая пустота, будто она опрокинула их в себя и выстудила холодом своей души. Кланялась низко-низко – в самые ноги... Иван хмурился по-мальчишески, кротко и утружденно, глядя, как Ефросинья рассыпала по полу свои длинные, пегие от густой проседи волосы. Глаза его были вялы и даже как будто растеряны, но из-под плоских, расширенных зрачков выбивались тусклые искорки, словно в его еще не затвердевшую душу врезались острым кресалом.

О чем думал он тогда? Какие чувства бредили ему душу и в какие узлы завязывали ее? Может быть, как раз тогда и перехватило в нем петлей слабый росток добра? Может быть, как раз тогда, глядя на беснующуюся Ефросинью, понял он, как страшны люди в своем зле и как страшно и беспощадно зло само по себе?

Отныне ему уже не нужно было искать оружия надежней и сильнее: он нашел его рядом о собой – в душах тех, кто противостоял ему. Но никто, ни тогда, ни теперь, не задумывался

⁶² Быть в волосах – быть в трауре. Мужчины в трауре отпускали длинные волосы, а женщины носили их распущенными.

и не задумывается над этим, а ему, Челяднину, – не каркать же белой вороной над каждым ухом, что сами для себя и выпестовали царя – такого, которого были достойны. Да и кого в этом убедишь, даже начни каркать? Каждый считает себя праведником, а его – злодеем. Он и сам так считал – долго и упорно, пока однажды не заглянул попристальной себе в душу и не увидел, что хлещет себя до лютой боли бичом, сплетенным из гнилых обрывков обид и зла, которое только потому и было злом, что стыдилось стать добром. Когда же он расплел этот бич, то и обиды, и зло разом превратились в ничто, не разгневав и не устыдив его совести. А другой бич сплести было не из чего, и он успокоился. Успокоился не потому, что нашел оправдание царскому злу, потому, что признал за ним право отвечать на зло злом. А потом уже, позже, понял, какими тяготами отяготил он себя, задумав так много и размахнувшись так широко. Понял и как одинок, как несчастен он был – отверженный, проклинаемый, каждым своим шагом топчущий свою совесть, каждым своим днем омрачающий свою жизнь, но свято верующий в предначертанность своей судьбы свыше и исполняющий эту предначертанность. И разве же мог он позволить ему, Челяднину, Курбскому или кому-нибудь иному посягнуть на свою судьбу? Разве мог он кому-нибудь дать свободу, если сам не был свободен? Разве мог кого-нибудь пощадить, если не щадил себя?

– Эй, московиты-благорачиты! – заорал возница и опять оторвал Челяднина от его мыслей. – Скоро ль ваша Москва кислыми щами завоняет?

– А как получше нюхнешь, так и будешь хорош! – отвечали ему с встречных возов.

– Вот бестии! – повернул он к Челяднину свою зубастую, довольную харю. – Хочь спрашивай у них про версты не обинуюсь! А не обинуюсь – несчастье выйдет! В дороге про версты – боже упаси спросить! Непременно беда стряжется. Ну да не тужи, батюшка-боярин, скоро уж... Верст десять!

– Было уж десять!

– Тоды поболее! – плутовски оскалился возница и, отвернувшись, усердно понукал лошадей.

Челяднин снова сомкнул веки, и опять поползли, поползли мысли... Опять Ефросинья, Курбский, Иван... В Великих Луках он был ласков с ним и как-то не по-царски навязчив, как будто заигрывал или дразнил других своей ласковостью к нему. Но больно уж необычно все было. Весною в Дерпте и словом не омолол, будто и не замечал вовсе, а тут поклоны стал бить, целовать, душу разжалобил – до слез. Такое проняло благоговение – пошел бы за него в огонь и воду.

«Неужто же кривит душой?» – думает Челяднин и тут же отгоняет от себя эту мысль. Думать так о царе ему почему-то не хочется, стыдно даже, будто он перед кем-то в поруке за него. Отвык он от царя за столько лет, да и Иван переменялся, возмужал, научился прятать свои истинные чувства: не так-то просто теперь понять, где в нем искренность, а где лукавство? Но чувствует Челяднин: в Великих Луках Иван был искрен с ним, потому что своей искренностью, своей добротой и ласковостью свою же душу лечил. Донимало его что-то... Видел Челяднин его глаза – из самой души смотрели они. О Курбском спросил будто ненароком, но этим-то и выдал свое смятение. Видать, сильно удручил его разрыв с Курбским.

Курбский тоже в смятении и страхе. Только и слышал от него Челяднин в Дерпте:

– Спасаться надобно! Спасаться, боярин!

– Так уж спасся, – в шутку успокаивал его Челяднин. – Подальше будешь – поцелей. А я вот прямо на зуб ему...

– А ты оставь его, – советовал Курбский. – Оставь, боярин! Неужто не намыкался в опале?!

– Оставлю... Бог призовет – и оставлю.

Из Дерпта Курбский провожал его до первого яма. В одних санях ехали. Угрюм был князь, подавлен: отчаянье, злоба, страх истерзали его, изнурили его терпение, волю... Челяд-

нин понимал, что он приговорил себя, обрек. Обратного пути для него не было: покорность и смирение были для него еще невыносимей, чем отверженность и беславие, но отверженность и беславие тоже были невыносимы. Он не был мучеником – ни по натуре, ни по страсти, и страдания не могли утешить его, как утешали они многих. Он не хотел страдать, он хотел бороться, но сознавал свое бессилие и опускал руки.

– Жутко, боярин, быть собакой на сворке! Натравят – грызи! Погладят – руку лизни! Ударят – подожди хвост! Ибо что ты можешь еще?.. Что? Выпросить у Бога долготерпение да вылезти на Ивана Великого и кинуться вниз головой. Где та сила, что встанет и остановит несправедность? Где свобода, что в зачатые нам Богом дарована?

– А нужна ли нам та свобода, князь? На что мы истратим ее? На мелкие страсти, на вольготье и праздность жизни?

– Что же – рабство?

– Не рабство... Служение.

– Чему и кому?

– Тому, кому свобода потребней, чем нам. Кто истратит ее на великое.

– Избраннику Божьему?! Где тот избранник?

– Буде, он и есть...

– Он?! Пошто же не силой ума и величием духа влечет за собой людей, а гнетом, насильем? Нет, боярин, великое и злое, как кошка и собака, купно не живут! Великому я рад слушать, злomu не желаю!

– А буде, князь, великое беспомощно без зла? Твоя душа, моя душа, еще чья-то – и каждая на свой лад, со своей намеренностью, со своей скверной... Что ж, каждую расслушать, ублажить? А коль ты подл, нерадив, преступен? Коль тебе чужды все его дела? Ты хочешь сытно жрать, копить мощну, блудить – и ничего более!

– Отставит пусть меня. Иного призовет.

– Иного? А коль и тот?.. И так всю жизнь перебирать?

– Пусть страсть свою волеет в души и иным...

– А коль те души дырявы? Иль в них своя пылает страсть?

– Вот-вот, боярин! Не токмо лишь царям дарует Бог величье. Как быть тому, кто одарен, пусть малой, но своею страстью? Как ему быть, коли у него лишь токмо дар, а сила и власть у другого?

«Да, – вдруг остановил себя на этой мысли Челяднин. – Как быть?» Она задела в его памяти еще что-то – совсем недавнее, как будто только-только пережитое. Ни Курбский, ни царь, ни Ефросинья не были причастны к этому. Они враз выскочили из его памяти, и в ней не осталось ничего, кроме томящего напряжения. Он сильнее сжал веки и вдруг вздрогнул, снова напугавшись неожиданно громкого голоса: «Блаженны чистые сердцем! Им дано лицезрение Бога!»

Монах! Сторожевский монах! Только сейчас Челяднин почувствовал, как сурово и гневно звучал его голос.

«Да веди он обличал!» – подумал Челяднин, цепенея от этой догадки.

«...Блажен и чист был преподобный отец Ондрей! – ожгло Челяднину душу. Голос монаха опять застиг его врасплох, только теперь он не был так громок – он был тих и шипящ, словно монах сидел с ним рядом и шипел ему в самое ухо. – Все в нем принадлежало Богу... Он созерцал горнее... Но живи он о сих, не статья бы его великим писаниям!»

«Обличал! Обличал! – вонзается в Челяднина мучительная растерянность. – Не меня – иных... Но и меня, ибо я також ишу оправдание злу!»

«...Ныне избранному не возмогша принадлежать лише Богу, – еще настойчивей шепчет монах, словно хочет вытравить из его души последнюю силу, оставив ее беззащитной и расте-

рянной. – Ныне сильные и предержавшие власть душу его под себя имут – нудьмо иль ухищрением!..»

Челяднин сильней сжимает веки, словно боится, что проскользнувший сквозь них свет вдруг высветит в его душе что-то еще – неведомое и ему самому. Но мысли лезут, лезут настойчиво, словно взялись обыскать всю его душу, все ее укромные уголки и закоулки.

«Великое и злое купно не живут! Великое беспомощно без зла! А Спас?!»

«Пред ликом его душа яко бы вновь нарождается!.. – Монах тут как тут, у самого уха: – Вся худь и скверна вон исторгаются! Остается добро и свет!»

«Добро и свет! Великое и злое! А ежели Курбский в воду глядит? А Ефросинья?.. Ею тоже движет зло. Зло и месть! А монах? Неужто и он во зле? Во зле – за попрание добра и свободы! А на что свобода? Чтобы творить добро? А ежели зло?.. Противиться великому – не зло ли?.. А ежели нет великого? Ежели я, Челяднин, выдумал в нем великое, чтоб оправдать свое отступничество? И отступничество ли? А ежели предательство? Нет, предатель труслив и подл, я же не трушу, не подличаю! Я отступился от того, в чем разуверился... Не верю, да, не верю... И не хочу стоять, на чем стоял! Не верю – и не хочу! Пошто же примыкаю к иному? Пособлять великому и новому? Великому и новому и злему – разом! Пошто я в нем оправдываю зло? А в Ефросинье – нет? И в Курбском – нет! Буде, потому, что сам отступился от добра? И потому меня так стало влечь к нему? И он почуял се во мне?»

«Тебя он жалует, боярин, не с добра, – доносится до него спокойный, сперва чуть слышный голос Ефросиньи. Но с каждым словом он все слышней, слышней, и вот уже не монах, а Ефросинья сидит с ним рядом и шепчет ему в ухо: – Всегда он был силен чужим умом. Сильвестр его в советах, как в пеленках, нянчил... Адашев думал за него, да Курбский, да Курлятев... Сколько браней Курбский, да Воротынский, да Горбатый выстояли? Казань ему подали, как пирог к столу! А он их как?.. Всех поразослал! Один остался... С бусурманкой да братьями ее стыдобными. А дел-то позатеял – уймищу! От думы – тоже в сторону! Все сам, а голова-то мелка, что лужа из-под копытца».

Сказал он ей тогда не в защиту царя, а чтобы наговор ее злой пресечь:

– Советчиков, верно, много около него было. Да не шел он по их советам. Вперекор все делал. Они его на Крым поворачивали, а он на немца пошел.

– С дурна ума и пошел! Что тем прибавил отечеству? А крымец повадился, как волк в овчарню... Царем прозывает себя, а вотчины своей защитить не может! Не ведаю я, каки они те цари заморские были, с коих он царство себе надоумил, а токо в нем царства, как в бабьем подоле ухарства! Слово одно пустое – царь. Венец на себя надвиг, чтоб ублюдскую худь прикрыть. Богом венчанный!.. Еленин ублюдок он, а не царь! Телепнево семя!

Челяднин и ране слышал такое о царе: поговаривали, перешептывались – еще в малолетство Ивана, когда Елена, став правительницей, вдруг приблизила к себе Телепнева, но наверно никто ничего не знал, и вскоре унялись все поговоры и перешептки. После смерти Елены, а вслед за ней и Телепнева опять прощушукалась эта молвь, но снова лишь догадки и авоси, больше похожие на злословие, которое никогда не стихало в царском дворце.

Челяднин никогда не прислушивался к этим дворцовым пересудам. Краем уха, случилось, схватит что-нибудь, ну а верить – не верил и подавно. Ефросиньиным словам не удивился: от злобы были они, но не ожидал он, что и она в своей злобе дойдет до того, что перестанет чураться даже дурных сплетен. Не такая это была женщина, чтобы подогреть свою злобу пустыми выдумками. В ее душе и без того было достаточно огня – более жгучего и страшного, – чтобы до конца своих дней не остудить злобы к царскому дому.

– Пустой перевет⁶³, матушка-княгиня! Не тебе его переговаривать, – сказал он ей устыжающе. – Не ослепляйся злобой!

⁶³ Перевет – сплетня.

– Я не слепа, боярин. И попусту наветить не стану. В том мне вера моя порукой. Я реку истину, кою мне Бог сподобил узнать. Я поведаю тебе ее, коли ты тщишься узнать, кто престолом нашим владеет и кто должен им владеть?!

– Слышал бы нас государь...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.